



НОВАЯ ПОЛЬША 3/2008

Содержание

1. СЕКРЕТНАЯ АУДИЕНЦИЯ
2. ТАНГО СТЕФАНА МЕЛЛЕРА
3. ТАНГО СТЕФАНА МЕЛЛЕРА
4. ИОАНН ПАВЕЛ II И ПРАВОСЛАВНЫЙ МИР
5. ХРОНИКА (НЕКОТОРЫХ) ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ
6. МЕССА В ЧЕТЫРЕ
7. ГОЛОС ИЗ АТЛАНТИДЫ
8. ПОЛЕ БИТВЫ ЕЕ ЛУЧШЕГО РАССКАЗА
9. ЧУВСТВЕННОСТЬ РАССКАЗА
10. ГРОТОВСКИЙ И МОЛЧАНИЕ
11. ПОЛЬСКИЙ МАСТЕР ПАРАДОКСА НА РУССКИХ СЦЕНАХ
12. “ВОЙНА И МИР” КРИСТИНЫ КУРЧАБ-РЕДЛИХ
13. УМНЫМ СЕРДЦЕМ
14. УМНЫМ СЕРДЦЕМ
15. ВЫПИСКИ ИЗ КУЛЬТУРНОЙ ПЕРИОДИКИ
16. ПАМЯТИ ВИКТОРА ЭРЛИХА

СЕКРЕТНАЯ АУДИЕНЦИЯ

После тяжелой болезни на 67-м году жизни скончался профессор Стефан Меллер, выдающийся дипломат, бывший министр иностранных дел Польши.

Ниже мы печатаем отрывок из книги бесед Михала Комара со Стефаном Меллером, опубликованный в “Тыжднике повшехном”.

— Прежде чем в апреле 2002 г. ты прибыл в Москву в качестве польского посла, ты побывал еще и в Ватикане.

— В понедельник в полдень я должен был идти на аудиенцию к Папе Иоанну Павлу II. Я до сих пор не знаю, кто это организовал. Ты знаешь, мне в жизни приходилось волноваться, но подобного я никогда не испытывал. Вначале я пошел к министру Цимошевичу, потому что считал, что обязан ему об этом сообщить. Мы решили, что я полечу в Рим уже не как заместитель министра и не с официальным визитом, а как самое обыкновенное частное лицо, как профессор истории, хотя я все еще путешествовал с дипломатическим паспортом. Во время визита у папского нунция в Варшаве я пытался расспросить его, как себя вести на аудиенции. Мой собеседник так развеселился, что начал надо мной смеяться. Разумеется, во всей этой сумятице я его даже не спросил, какой подарок прилично было бы вручить Папе. В последнюю минуту мне пришло в голову, что вместо того, чтобы изобретать какие-то глупости, я просто привезу в Рим мою книгу. Я взял две из них. Первая — это “Прощание с революцией”. Она показалась мне самой подходящей, потому что в приложении были напечатаны мои тексты, взятые из подпольных (в свое время) изданий. Для меня это было чем-то вроде способа представиться — не только в качестве историка. Кроме того, я взял с собой французский перевод моей книги о Турени во времена Французской Революции, потому что я там довольно много писал о преследованиях и казнях священников. Я жутко мучился, придумывая дарственную надпись. Я полночи над ней просидел, а сейчас даже вообще не помню, что я там написал.

И я прилетел в Рим весь в напряжении, да еще и после бессонной ночи. Михал Радлицкий, наш посол в Риме, повел себя замечательно: вытащил меня на какую-то прогулку, чтобы я немного расслабился.

Наконец этот момент наступил. Я въезжаю на машине в Ватикан. Меня встречают швейцарские гвардейцы, куда-то меня ведут, потом мы поднимаемся в лифте, а я в этом волнении ничего не вижу, иду как лунатик. Вхожу. Большое помещение, прямо передо мной — письменный стол. А я, как дурак, очки забыл, так что ничего не видел. До сих пор не помню, был ли там кардинал Дзивиш, папский личный секретарь. Подо мной просто ноги подкашивались. Вошел Папа — согбенный, сторбленный, медленно, постепенно передвигаясь. Я подошел, поздоровался с ним, он сел за письменный стол. Рядом со столом стоял стул, он показал жестом, чтобы я тоже сел. Я произнес несколько обычных вежливых фраз и вручил ему обе книги. Он посмотрел на обложку и сказал только: “Я знаю, пан профессор, что вы этими вопросами интересовались”.

Первые минуты разговора тянулись целую вечность, мне показалось, что уже час прошел. Я с отчаянием думал, что говорю какие-то банальности, а время уходит. Перед тем, как я вошел, мне сказали, что в моем распоряжении около двадцати минут, а из них прошло уже семь.

— *Ты действительно не помнишь начала этого разговора?*

— Все-таки кое-что у меня в голове осталось. При всем своем смущении я не мог не заметить двух вещей. Его улыбки — легкой, уголком рта, потому что я действительно выглядел тогда со стороны довольно забавно, — и доброжелательного интереса. Но, с другой стороны, его взгляд был необыкновенно внимательным, почти пронзительным — глаза как бы насквозь просвечивали собеседника. И эти глаза совершенно не вязались с улыбкой. Их как будто взяли у другого лица. Это был взгляд человека, который очень спокойно, с интересом, беспристрастно, но очень внимательно наблюдает за своим собеседником. Улыбка была доброжелательная, а глаза — пронзительные. Говорил Папа очень тихо, и я был вынужден все время напрягаться, чтобы всё услышать и понять.

Разговор начался с Норвида. Моему собеседнику было прекрасно известно, что я интересуюсь Норвидом, прежде всего периодом его пребывания в Париже. Он сам творчество Норвида знал великолепно. Мы потом говорили, в связи с моими книжками, о французской революции, о судьбе священников — и тех, кого истязали, и тех, кто подписывал бумажки о лояльности революционному порядку... Иоанн Павел II прекрасно знал историю Революции, задавал вопросы общего характера, но очень меткие, он точно знал, о чем спрашивает. Были и очень

конкретные вопросы — например, о различиях между порядками в Париже и в провинции.

Внезапно я услышал вопрос: “Я слыхал, пан профессор, вы в Москву собираетесь?” Тут я понял, какая была связь между Норвидом и Москвой. Я осознал, что потому-то и был приглашен в Ватикан. Затем последовал ряд прекрасно подготовленных, очень четко заданных вопросов о положении в России и о том, в каком направлении это будет развиваться. Я был настроен, наверное, довольно пессимистически (развитие событий, к сожалению, подтвердило мой тогдашний диагноз), так что в какой-то момент услышал из уст моего собеседника шуточный упрек по этому поводу. Следующие вопросы касались текущего положения и истории католической Церкви. В какой-то момент мы заговорили о Евросоюзе. И внезапно — скажу без ложной скромности — я увидел перед собой сияющего человека, счастливого, что он участвует в беседе двух польских интеллигентов, которые читали практически одни те же книги и хотят об этом поболтать.

Как раз в ходе этого обмена мнениями я взглянул на часы, внезапно осознав, что назначенное мне время наверняка истекло. Я был вынужден посмотреть на часы еще раз, с более близкого расстояния, потому что был без очков. И в этот момент Папа откинул полу рясы, наклонился и подставил мне почти под нос тыльную сторону ладони. И произнес: “Вы только поглядите, пан профессор, какие у меня красивые часы... А я вот ими не хвастаюсь!”

Я с огромным трудом сдержался, чтобы не расхохотаться. Внезапно на лице Иоанна Павла II я увидел плутовскую улыбку. “Давайте еще поговорим, а когда устану — я вам сам скажу”, — услышал я. Мы вернулись к российским делам: какие я вижу различия между Москвой и, например, Иркутском. С одной стороны, я чувствовал себя немножко как на экзамене, а с другой — был убежден, что будущий посол в России обязан показать, что у него есть свои сформировавшиеся взгляды, что он как следует продумал свою роль в Москве.

Папа слушал очень внимательно. Я помню один его совет: чтобы я особенно старался не поддаваться эмоциям, потому что в моей роли нужно спокойствие. Он дал мне понять, что не надо смешивать польско-российские отношения с отношениями между Москвой и Ватиканом. К этой теме он возвращался дважды.

Уже под конец разговора он спросил, по-прежнему ли я пишу стихи. Я подтвердил, он улыбнулся и сказал: “Вот это хорошо,

очень хорошо”.

Я по-прежнему видел эту восхитительную улыбку и глаза — иногда выглядевшие пронизывающе, а иногда искрившиеся плутовским блеском. Но уже появлялись минуты явственного утомления, которое приходило, а потом на время исчезало. В какой-то момент Папа дал понять мне, что уже пора заканчивать. Прежде чем он начал вставать, я услышал еще: “Завтра у меня будет президент Квасневский. Но мы ведь не обязаны говорить, что вы здесь были...”

— *Похоже на то, что Иоанн Павел II прекрасно подготовился к этому разговору...*

— Прежде чем выйти, я еще раз убедился, что он не только превосходно знал мою биографию (как историка и как поэта), но и великолепно ориентировался и в моей тогдашней личной ситуации. Он поманил рукой одного из священников, и в комнату внесли трое четок в красивой шкатулке.

А теперь я должен сделать маленькое отступление. Моя связь с Эвой длилась уже полтора года; вокруг этого было довольно много шума, потому что у Эвы была семья, а я влюбился в нее без памяти. Я был уверен, что хочу быть с ней до конца жизни. По разным причинам мы не могли пожениться. Это вызвало небольшой скандал в Париже и Варшаве, хотя бы из-за дипломатического протокола. Присутствие Эвы в посольстве создавало определенные трудности, а всегда кишевший интригами МИД теперь бурлил от сплетен. В какой-то момент я даже решил подать в отставку: не мог же я притворяться, что все нормально; я решил, что если мне придется выбирать между дипломатией и Эвой, то я, конечно же, выберу Эву. К счастью, у меня были доброжелательные начальники — если можно так выразиться, мои “болельщики”. И Бронислав Геремек, и Александр Квасневский в этом деле вели себя великолепно. Геремек мне просто сказал, чтобы я не дурил с этой отставкой, потому что именно теперь пора начинать строить новую жизнь. А президент Квасневский, оказывается, следил за развитием нашего романа: однажды он позвонил в Париж, сказал, что смотрит прекрасный любовный сериал, и в шутку спросил, в котором по счету эпизоде мы теперь находимся. Во время моего пребывания в Москве, когда в МИДе действительно начались в связи с этим серьезные проблемы, он повел себя как джентльмен.

— *Я так понимаю, что твой собеседник обо всем этом тоже знал?*

— Иоанн Павел II вручил мне первые четки и сказал: “Это для вашей дочери, пан профессор”. Я прикидывал, для кого же могут быть остальные? Ведь не для сыновей же. И тогда я слышу: “Вторые — для самого близкого вам человека. А третьи — для ее дочери” (речь, конечно шла о дочери Эвы). Так все и произошло: Папа знал, что я живу в гражданском браке и, несмотря на это, подарил мне четки для Эвы. Мне казалось, я со стула свалюсь.

Потом мы встали. Он потихоньку выпрямился. Передо мной был высокий поляк, человек неслыханного обаяния. Внезапно — это был порыв, я даже не успел все это подумать — я спросил: “Не можете ли вы, ваше святейшество, меня благословить, хотя я и не связан с Церковью?” Он поднял голову и ответил: “Пан профессор, Папа все может, только он уже не в состоянии так высоко поднять руку”. Я все понял и, как стоял, грохнулся на колени, они у меня потом еще несколько дней болели. Папа возложил руки мне на голову... Потом я поднялся и направился к выходу — по-моему, даже не обернувшись. Я был растроган, у меня стояли слезы в глазах, и я стеснялся этого, не хотел, чтобы он это видел. Я ускорил шаги, чтобы побыстрее выйти... и изо всей силы врезался головой в стену... Внезапно я увидел управителя папских покоев, который был гораздо выше меня. Он только улыбнулся и сказал: “Не принимайте этого близко к сердцу, я здесь уже и не такие вещи видел...”

— А потом ты еще всех поразил своими неприличными выходками...

— Я вернулся в посольство. В Варшаве было холодно, а в Риме жара, 25 градусов. В квартире Михала Радлицкого — он жил один — была красивая терраса, и я растянулся голышом в шезлонге. Я чувствовал себя страшно уставшим, хотел вздремнуть, но сон не приходил. Я пошел к мини-бару, выпил виски, потом налил еще и еще... Больше я ничего не помню.

Разбудил меня громкий смех Михала. Я не понял, над чем он смеется — надо полагать, голого мужика ему видеть уже приходилось. Но над террасой, о чем я не знал, жили работники посольства. Они все стояли возле окон, вместе с семьями, и наслаждались видом голого замминистра.

Вечером мы ужинали с Ханной Сухоцкой, польским послом при Ватикане. Я к ним приставал с ножом к горлу, чтобы узнать, кто организовал эту аудиенцию, но они только улыбались и говорили, что понятия не имеют. На следующее утро из Ватикана привезли снимки, на которых мы с Иоанном Павлом II сидим за письменным столом.

* *

*

Стефан Меллер (1942—2008) — историк, дипломат, эссеист, переводчик, поэт. Был научным сотрудником Польского института международных дел, разносчиком молока, переводчиком титров в кинорекламах, репетитором, библиотекарем, старшей косметичкой в кооперативе “Изида”, преподавателем французского произношения в кооперативе “Лингвист”, профессором в Варшавском университете, проректором Государственной высшей театральной школы, директором департамента в МИДе, послом Польши во Франции и в России, наконец — министром иностранных дел. Отец троих детей. Важнейшие публикации: “Камилл Демулен” (1982), “Французская революция 1789—1794 гг. Гражданское общество” (в соавторстве с Яном Башкевичем, 1983), “Революция в долине Луары: город Шинон в 1788—1798 гг.” (1987), “Прощание с революцией” (1991). Два сборника стихов: “Всё на мгновенье” (1973), “Всего лишь минута” (2006). Скончался 5 февраля 2008 г. в возрасте 66 лет.

ТАНГО СТЕФАНА МЕЛЛЕРА

Как же трудно свыкнуться с мыслью, что проводили в последний путь Стефана Меллера — историка и дипломата, исключительно честного и порядочного человека, познакомившись с которым уже нельзя было остаться вне его обаяния, общительности и эрудиции.

Одним из переломных этапов в его дипломатической карьере стало неожиданное назначение министром иностранных дел и председателем Комитета европейской интеграции, когда он начал отсчитывать четвертый год своей энергичной деятельности посла Польши в России. Это случилось 31 октября 2005 г. — Казимеж Марцинкевич, формировавший новый кабинет министров победившей на парламентских выборах правоцентристской партии братьев Качинских, предложил Меллеру возглавить польскую дипломатию. Многие тогда это восприняли как показательный жест новой власти: внешнюю политику доверить бывшему послу в России, к тому же человеку, не замеченному ранее в предпочтениях какой-либо партийной ориентации. Мне тогда довелось быть в Москве и посчастливилось взять первое интервью у Стефана Меллера уже в новом для него качестве. Помню его искреннее удивление перед возлагаемой на его плечи миссией и объяснение согласия, основанного на желании помочь “правительству экспертов” и воспользоваться перспективами новой работы для развития польско-российских отношений.

И без этого важного сюжета в биографии огромен послужной список его 65 летней жизни, укороченной гонениями на интеллигентов в Польше в 1968 году, шестилетним “запретом на профессию” и тяжелой болезнью последних лет. Выпускник Варшавского университета, профессор гуманитарных наук Стефан Меллер работал в польском Институте международных проблем и Государственном архиве, был проректором Высшей театральной школы в Варшаве и научным директором Высшей школы социальных наук в Париже, преподавал историю в университетах Европы и США, много лет возглавлял исторический ежемесячник “Говорят века”. Автор книг и статей по новой и новейшей истории Польши и Европы. А перед тем, как стать во главе посольства в российской столице, несколько лет проработал послом во Франции.

Работа в России оставила в нем глубокий след, многогранно обогатив профессиональный опыт. “Можете напечатать жирным шрифтом — лучшего урока нет”, — упреждающе заметил в беседе со мной Стефан Меллер. Он приехал в Москву, не зная русского языка, а уже через пару месяцев удивлял своих собеседников не только правильным произношением и литературной речью, но и умением рассказывать анекдоты в оригинале. Его стали знать как завсегдатая московских театров. Он не пропускал ни одного важного культурного события. Помню, как в декабре 2002 г. посол Меллер был несказанно горд, что польская национальная опера после семнадцатилетнего перерыва была представлена на сцене знаменитого московского Большого театра. Надо было видеть, как на открытии гастролей варшавского Большого театра (давали оперу Кароля Шимановского “Король Рогер” в нашумевшей постановке Мариуша Трелинского) посол Меллер встречал своих коллег по дипломатическому корпусу, стараясь усадить их на самые удобные места.

Но самым притягательным для него оставались страна и люди. “Главное, я увидел страну в момент трансформации, в момент ее поиска нового места в мире. Люди ищут место для себя, своей семьи, для своей среды. Такой лаборатории я никогда в жизни не видел. Этот опыт заставляет молниеносно отбросить всяческие стереотипы”, — говорил о своем “российском периоде” Меллер. Когда же я заметил, что период его пребывания в России легким отнюдь не назовешь, он быстро ответил: “Для мужчины самое сложное время — это когда он влюбится. Нет более тяжелых периодов”.

Тогда же, в своем первом интервью в качестве министра иностранных дел, Стефан Меллер убежденно сказал, что польско-российские отношения он не считает роковыми, но пояснил: “Как говорит польская пословица — для танго нужны двое. И если нам танцевать вместе, значит, и желание должно быть с обеих сторон. Демократическая Польша нуждается в демократической России, и наоборот. Это не только проблема внешней политики, это вопрос стабильного будущего и нашего региона, и Европы, и мира в целом”. Позже, уже в Варшаве перед депутатами Сейма, Стефан Меллер выступил с подробным докладом о задачах польской внешней политики. Он много времени посвятил ЕС (“пространство свободной конкуренции”), рассказал о важных элементах стратегического диалога с США (даже приоткрыл тайну переговоров о возможном участии Польши в американской системе ПРО), отметил, что “из Германии идут доброжелательные сигналы”, а Франция по-прежнему вызывает у поляков рефлекс

симпатии. Но, пожалуй, самым эмоциональным и содержательным оказался фрагмент, посвященный отношениям с Россией. И думается, что это не только потому, что он был услышан из уст недавнего посла Польши в Москве, хотя тогдашний глава польской дипломатии это и подчеркнул.

Это был период, когда польские дипломаты обратили внимание, что с российской стороны идет инициатива улучшения отношений между нашими странами. Владимир Путин был первым, кто прислал соболезнования после трагедии в Катовице — обвал крыши выставочного павильона унес жизни десятков людей. А несколько дней спустя, на ежегодной пресс-конференции в Кремле, в присутствии более тысячи представителей СМИ со всего мира, российский президент назвал русских и поляков “близкими родственниками” и фактически “одной семьей”, отметив при этом глубокое уважение к Польше “за ее вклад в мировую культуру, мировую экономику, в сегодняшние дела в Европе и мире”. Стефан Меллер прямо сказал, что “хочет ответить взаимностью на теплые слова президента Владимира Путина, согласившись с тем, что Польшу и Россию связывает немалый потенциал этнической, исторической и культурной близости”. Он и позже, говоря об отношениях с Россией, все время подчеркивал, что Польша заинтересована в том, чтобы они были нормальными, партнерскими, основанными на проверенном опыте сотрудничества. Однако пути Меллера с властью разошлись. После того, как в правительство вошли представители леворадикальной популистской “Самообороны”, он подал в отставку 9 мая 2006 года.

Последний раз мне посчастливилось участвовать вместе со Стефаном Меллером в организованной Прибалтийским центром культуры в Гданьске конференции “Поляки — русские: взаимоотношения”. Будучи ведущим одной из дискуссий, он полушутя-полусерьезно заметил: “А может, нам договориться и для постоянного напоминания об общей истории установить в Варшаве на Замковой площади копию памятника Минину и Пожарскому, а в Москве на Красной площади — памятник Тадеушу Костюшко?” Так мог сказать только настоящий историк и дипломат.

Валерий Мастеров — собственный корреспондент газет

“Московские новости” и “Время новостей” в Варшаве.

* *

*

Польско-российские отношения складывались действительно не лучшим образом. В том числе и по причине историко-политической психологии. У нас одна коллективная историческая память, у вас — другая. Поскольку в 70-е годы я был связан с оппозицией, то унаследовал глубокую веру в российскую демократию. Польские “самиздаты” посвящали в своих публикациях очень много места России, с которой мы связывали и свои надежды на будущее.

Стефан Меллер в интервью “Московским новостям”

ТАНГО СТЕФАНА МЕЛЛЕРА

Как же трудно свыкнуться с мыслью, что проводили в последний путь Стефана Меллера — историка и дипломата, исключительно честного и порядочного человека, познакомившись с которым уже нельзя было остаться вне его обаяния, общительности и эрудиции.

Одним из переломных этапов в его дипломатической карьере стало неожиданное назначение министром иностранных дел и председателем Комитета европейской интеграции, когда он начал отсчитывать четвертый год своей энергичной деятельности посла Польши в России. Это случилось 31 октября 2005 г. — Казимеж Марцинкевич, формировавший новый кабинет министров победившей на парламентских выборах правоцентристской партии братьев Качинских, предложил Меллеру возглавить польскую дипломатию. Многие тогда это восприняли как показательный жест новой власти: внешнюю политику доверить бывшему послу в России, к тому же человеку, не замеченному ранее в предпочтениях какой-либо партийной ориентации. Мне тогда довелось быть в Москве и посчастливилось взять первое интервью у Стефана Меллера уже в новом для него качестве. Помню его искреннее удивление перед возлагаемой на его плечи миссией и объяснение согласия, основанного на желании помочь “правительству экспертов” и воспользоваться перспективами новой работы для развития польско-российских отношений.

И без этого важного сюжета в биографии огромен послужной список его 65 летней жизни, укороченной гонениями на интеллигентов в Польше в 1968 году, шестилетним “запретом на профессию” и тяжелой болезнью последних лет. Выпускник Варшавского университета, профессор гуманитарных наук Стефан Меллер работал в польском Институте международных проблем и Государственном архиве, был проректором Высшей театральной школы в Варшаве и научным директором Высшей школы социальных наук в Париже, преподавал историю в университетах Европы и США, много лет возглавлял исторический ежемесячник “Говорят века”. Автор книг и статей по новой и новейшей истории Польши и Европы. А перед тем, как стать во главе посольства в российской столице, несколько лет проработал послом во Франции.

Работа в России оставила в нем глубокий след, многогранно обогатив профессиональный опыт. “Можете напечатать жирным шрифтом — лучшего урока нет”, — упреждающе заметил в беседе со мной Стефан Меллер. Он приехал в Москву, не зная русского языка, а уже через пару месяцев удивлял своих собеседников не только правильным произношением и литературной речью, но и умением рассказывать анекдоты в оригинале. Его стали знать как завсегдатая московских театров. Он не пропускал ни одного важного культурного события. Помню, как в декабре 2002 г. посол Меллер был несказанно горд, что польская национальная опера после семнадцатилетнего перерыва была представлена на сцене знаменитого московского Большого театра. Надо было видеть, как на открытии гастролей варшавского Большого театра (давали оперу Кароля Шимановского “Король Рогер” в нашумевшей постановке Мариуша Трелинского) посол Меллер встречал своих коллег по дипломатическому корпусу, стараясь усадить их на самые удобные места.

Но самым притягательным для него оставались страна и люди. “Главное, я увидел страну в момент трансформации, в момент ее поиска нового места в мире. Люди ищут место для себя, своей семьи, для своей среды. Такой лаборатории я никогда в жизни не видел. Этот опыт заставляет молниеносно отбросить всяческие стереотипы”, — говорил о своем “российском периоде” Меллер. Когда же я заметил, что период его пребывания в России легким отнюдь не назовешь, он быстро ответил: “Для мужчины самое сложное время — это когда он влюбится. Нет более тяжелых периодов”.

Тогда же, в своем первом интервью в качестве министра иностранных дел, Стефан Меллер убежденно сказал, что польско-российские отношения он не считает роковыми, но пояснил: “Как говорит польская пословица — для танго нужны двое. И если нам танцевать вместе, значит, и желание должно быть с обеих сторон. Демократическая Польша нуждается в демократической России, и наоборот. Это не только проблема внешней политики, это вопрос стабильного будущего и нашего региона, и Европы, и мира в целом”. Позже, уже в Варшаве перед депутатами Сейма, Стефан Меллер выступил с подробным докладом о задачах польской внешней политики. Он много времени посвятил ЕС (“пространство свободной конкуренции”), рассказал о важных элементах стратегического диалога с США (даже приоткрыл тайну переговоров о возможном участии Польши в американской системе ПРО), отметил, что “из Германии идут доброжелательные сигналы”, а Франция по-прежнему вызывает у поляков рефлекс

симпатии. Но, пожалуй, самым эмоциональным и содержательным оказался фрагмент, посвященный отношениям с Россией. И думается, что это не только потому, что он был услышан из уст недавнего посла Польши в Москве, хотя тогдашний глава польской дипломатии это и подчеркнул.

Это был период, когда польские дипломаты обратили внимание, что с российской стороны идет инициатива улучшения отношений между нашими странами. Владимир Путин был первым, кто прислал соболезнования после трагедии в Катовице — обвал крыши выставочного павильона унес жизни десятков людей. А несколько дней спустя, на ежегодной пресс-конференции в Кремле, в присутствии более тысячи представителей СМИ со всего мира, российский президент назвал русских и поляков “близкими родственниками” и фактически “одной семьей”, отметив при этом глубокое уважение к Польше “за ее вклад в мировую культуру, мировую экономику, в сегодняшние дела в Европе и мире”. Стефан Меллер прямо сказал, что “хочет ответить взаимностью на теплые слова президента Владимира Путина, согласившись с тем, что Польшу и Россию связывает немалый потенциал этнической, исторической и культурной близости”. Он и позже, говоря об отношениях с Россией, все время подчеркивал, что Польша заинтересована в том, чтобы они были нормальными, партнерскими, основанными на проверенном опыте сотрудничества. Однако пути Меллера с властью разошлись. После того, как в правительство вошли представители леворадикальной популистской “Самообороны”, он подал в отставку 9 мая 2006 года.

Последний раз мне посчастливилось участвовать вместе со Стефаном Меллером в организованной Прибалтийским центром культуры в Гданьске конференции “Поляки — русские: взаимоотношения”. Будучи ведущим одной из дискуссий, он полушутя-полусерьезно заметил: “А может, нам договориться и для постоянного напоминания об общей истории установить в Варшаве на Замковой площади копию памятника Минину и Пожарскому, а в Москве на Красной площади — памятник Тадеушу Костюшко?” Так мог сказать только настоящий историк и дипломат.

Валерий Мастеров — собственный корреспондент газет

“Московские новости” и “Время новостей” в Варшаве.

* *

*

Польско-российские отношения складывались действительно не лучшим образом. В том числе и по причине историко-политической психологии. У нас одна коллективная историческая память, у вас — другая. Поскольку в 70-е годы я был связан с оппозицией, то унаследовал глубокую веру в российскую демократию. Польские “самиздаты” посвящали в своих публикациях очень много места России, с которой мы связывали и свои надежды на будущее.

Стефан Меллер в интервью “Московским новостям”

ИОАНН ПАВЕЛ II И ПРАВОСЛАВНЫЙ МИР

После кончины Иоанна Павла II и по завершении его понтификата появились новые возможности взглянуть на то, чего он достиг в диалоге с Россией и на причины его — в конечном счете — неудачи. Моя книга “Большая Европа” писалась при жизни Папы, когда возможность найти взаимопонимание с православной Россией еще вырисовывалась реально, а причины конфликта казались преходящими. Тем более я тогда старался — потому что так понимаю задачу историка идей — описывать прежде всего те идеи и действия, которые обладали экуменическим аспектом и способствовали взаимопониманию. Еще до февраля 2002 г., то есть до установления в России католических епархий (диоцезов) существовали крупные шансы на осуществление паломничества Иоанна Павла II во всю Российскую Федерацию — в Москву и Петербург, Новгород и Псков, Владимир и Ярославль, Новосибирск и Иркутск. И мне трудно согласиться с общераспространенным среди католиков мнением, что вину за нынешнее состояние дел несет исключительно Московский Патриархат, втянутый в политику и недалекий от великодержавного национализма. Ответственность несет и римская курия, которая в стратегически неудачный момент приняла решение об установлении католических епархий в России. Таким образом, осуществление эпохальных экуменических планов Иоанна Павла II затрудняла не только вековая неприязнь Москвы к католицизму, особенно в его польском варианте, и втянутость РПЦ в политику, но и традиционное непонимание чувств православных, проявленное римской курией.

Была потом еще одна возможность паломничества в Россию — весной 2003 г., в Татарстан, когда Папа принял решение вернуть икону Божией Матери Казанской. Однако в конце концов это путешествие не состоялось, а церемония передачи иконы прошла в августе 2004 г. в Успенском соборе — в атмосфере мало экуменической, на этот раз уже исключительно по вине Московского Патриархата. Тогда, впрочем, времена стали чрезвычайно трудными для любых экуменических жестов, ибо в России начиналась серия кровавых террористических актов. Сначала произошли два захвата пассажирских самолетов над

Тулой и Ростовом, а сразу после этого мир услышал о нападении на ни в чем неповинных людей возле Рижского вокзала в Москве и о террористическом акте с захватом заложниками свыше тысячи детей в Беслане (Северная Осетия).

Разделения в православном мире

К вышеназванным препятствиям в православно-католическом диалоге во время понтификата Иоанна Павла II следует прибавить споры внутри самого православия, где сегодня существует 14 поместных автокефальных Церквей, независимых друг от друга. Административные структуры каждой поместной Церкви, ее иерархия, религиозные обычаи, богослужение и его язык, каноническое право и церковное судопроизводство — все это полностью автономно. Во главе девяти Церквей стоят Патриархи: Константинопольский (Вселенский), Александрийский, Антиохийский, Московский, Грузинский, Сербский, Румынский и Болгарский. Пять поместных Церквей: Кипрскую, Греческую, Албанскую, Польскую, Чешских земель и Словакии (вместе) — возглавляют митрополиты или архиепископы.

После распада СССР от Московского Патриархата отложились три Церкви: Эстонская, Украинская и Молдавская. Эстонская добивалась отделения от Москвы и возвращения под юрисдикцию Патриарха Константинопольского, где она была между двумя мировыми войнами. В 1998 г. Патриарх Варфоломей в конце концов согласился заново принять эстонских православных. В начале 1990-х произошел конфликт и между РПЦ и подчиненной ей с 1813 г. (с перерывом на 1918–1944 гг.) Кишиневско-Молдавской митрополией. В 1992 г. Церковь в Молдавии разделилась на две враждующие структуры: автономную митрополию под главенством Москвы и епархию в юрисдикции Румынского Патриархата.

Намного дальше зашли дела с православной Церковью на Украине. После распада СССР значительная часть украинских православных, ссылаясь на историю Киевской Руси и события 1918 г., добивались для своей Церкви статуса Патриархата или по крайней мере автокефальной митрополии. На это так и не выразили согласия ни Москва, которая в 1990 г. лишь наделила украинскую Церковь широкой автономией (Украинский экзархат МП), ни Константинополь. В результате православие на Украине раскололось на три отдельные церкви — каноническую УПЦ МП — и две неканонические: УПЦ Киевского Патриархата и автокефальную. Прибавим, что сопротивление Московского Патриархата устремлениям украинской Церкви приобрести полную самостоятельность вытекает не только из

желания сохранить удобное в административном и финансовом отношении статус-кво. Существуют также опасения, что новая автокефалия подвергнет сомнению право Московского Патриархата на наследие православных традиций Киевской Руси.

С Белоруссией таких проблем у Москвы уже нет: там статус автокефалии жаждет получить только православная Церковь в эмиграции (в Канаде и США). Церковь в самой Белоруссии, с 1990 г. также получившая статус экзархата, сегодня остается одной из самых лояльных структур МП. Неслучайно во время паломничества Иоанна Павла II в Киев и Львов в июне 2001 г. Патриарх Московский и всея Руси Алексий II отправился со своего рода контрпаломничеством в Белоруссию, вдоль ее границы с Украиной. Впрочем, Москва всегда протестовала или, по крайней мере, выражала молчаливое неодобрение, когда Иоанн Павел II отправлялся в паломничества — в целом очень немногочисленные — в ту или иную православную страну, особенно славянскую. Так было не только во время украинского паломничества, но и во время паломничества в Болгарию в мае 2002 года.

Это разделение и споры в лоне православия, совершенно независимо от того, кто прав и чьи аргументы — вневременные, а чьи — только чисто исторические, должно быть, весьма затрудняли диалог Иоанна Павла II с Россией и вообще восточной Церковью. В поддержку этого тезиса можно привести событие периферийного значения для католической Церкви, сумевшее, однако, повредить контактам между католиками и православными. Греческая Церковь тогда постановила временно уйти из комиссии по православно-католическому богословскому диалогу, мотивируя это тем, что Ватикан поддержал “схизматическую и шовинистическую” Церковь в Македонии. Предлогом стала римская выставка македонских икон, а в Ватикане, вероятно, мало кто отдавал себе отчет в том, что это за конфликт и в чем его суть. Напомним, что в Македонии православная Церковь — и сегодня продолжающая стремиться к полной самостоятельности — остается в споре со всеми православными Церквями и, главное, с Сербской, своей “Церковью-матерью”. Конфликт тянется с 1967 г., когда президент Тито, родом хорват, решил ослабить “сербский фактор” в югославском православии, дав политический “зеленый свет” македонской автокефалии. Прибавим, что автокефальные претензии македонцев не были поддержаны ни одной православной Церковью. Спор продолжается, примером чему служит принятое в ноябре 2003 г. решение македонской

Церкви порвать контакты с Сербским Патриархатом. Македонцы обвинили присланного им из Белграда экзарха в том, что он сеет религиозную ненависть... Как мы видим, в экуменическом диалоге с православием был необходим не только надлежащий богословский инструментарий — нужны были еще и подробные знания из области политической истории Балкан.

Церкви-сёстры и примат епископа Римского

В ноябре 1979 г. Иоанн Павел II совершил паломничество в Турцию, на территории которой с 1453 г. находится резиденция Патриарха Константинопольского. Вместе с Патриархом Димитрием I он призвал к жизни вышеупомянутую международную Совместную комиссию по делам богословского диалога между католической Церковью и восточными православными Церквями. Она начала свою работу в мае 1980 г. на греческих островах Патмос и Родос, а потом проводила свои заседания в Мюнхене (1982) и Фрайзинге (Бавария, 1990), в православных монастырях Гония (Крит, 1984) и Ново-Валаамском (Финляндия, 1988), в Бари (Италия, 1986–1987), в Баламанде (Ливан, 1993) и — пока что в последний раз — в Балтиморе (США, 2000).

Самой важной была ливанская встреча, где в 1993 г. был подписан документ “Униатство, метод объединения в прошлом, и нынешние поиски полного общения””, обычно называемый Баламандским соглашением. Соглашение давало большие надежды, как постоянно подчеркивает член комиссии, польский католический иеромонах о. Вацлав Хрыневич, преодолеть тупик в переговорах, вытекавший прежде всего из “деятельности возрождающейся униатской Церкви, особенно на Западной Украине и в Румынии”. В Баламанде католики от имени Рима подтвердили сделанное во Фрайзинге заявление о методе, который был назван “униатством”: “...мы отрицаем его в качестве способа поиска единства, потому что он противоречит общему преданию наших Церквей” (п.2). Православные же — точнее, только часть их, потому что целых семь Церквей отказались участвовать в этой встрече — признали, что уже существующие восточные католические Церкви “имеют, как часть католической общины, право на существование и на деятельность для удовлетворения духовных нужд своих верующих” (п.3). Ссылаясь на энциклику Иоанна Павла II “*Salvatorum Apostoli*”, обе стороны констатировали: “Церковь Католическая и Церковь Православная взаимно признают друг друга в качестве Церквей-сестер, совместно сохраняющих Церковь Божию в

верности ее божественному предназначению, особенно же в отношении единства. По словам Папы Иоанна Павла II, экуменические усилия Церквей-сестер Востока и Запада, основанные на диалоге и молитве, направлены к общению совершенному и всеобщему, которое не может быть ни поглощением, ни смешением, но встречей в истине и любви” (п.14). Тем самым обе стороны отступили от сотериологической исключительности, признав, что и католическая, и православная Церковь позволяет своим чадам спастись.

Содержание соглашения безоговорочно приняли Папа Иоанн Павел II, Патриарх Варфоломей I и Румынский Патриархат. Однако, как с горечью пишет о. Вацлав Хрыневич, “выраженный в переломном документе новый образ мыслей не стал ни в одной из Церквей общераспространенным и общепринятым”. Против соглашения немедленно выступила с протестом ультраконсервативная монашеская община горы Афон, а вскоре и Священный синод Греческой Православной Церкви признал соглашение недостаточно радикальным в критике католического прозелитизма. РПЦ так резко своего отношения не выразила. Соглашение было одобрено синодом епископов РПЦ в 1994 г., но критики подчеркивали, что это было сделано без ознакомления с его текстом. Для современной РПЦ весьма характерна позиция ее Синодальной богословской комиссии, которая сочла формулировку “Церкви-сёстры” продиктованной скорее эмоциональными, нежели догматическими соображениями — в стиле атеистической публицистики советского периода. Выступили также польские, русские и украинские фундаменталисты, которые не допускают мысли, что можно спастись вне православной Церкви. Другого рода были протесты униатских Церквей, которые ощутили опасность в том, что их не включили в число участников православно-католического диалога. Можно было услышать даже такие мнения, что униатские Церкви оказались преданы Ватиканом; особенно горько высказывались румынские униаты, что в свою очередь ослабило позиции Румынской Православной Церкви. Более примирительно вел себя глава Украинской Греко-Католической Церкви кардинал Мирослав Любачивский, который по размышлении призвал своих собратьев признать это эпохальное соглашение.

Крайне сложное восприятие Баламандского соглашения в православном и католическом мире — яркое доказательство того, что в диалоге Иоанна Павла II с православием вневременные идеи соглашения могут быть еще долгие годы заслонены фундаментализмом и близоруким прагматизмом с обеих сторон. Совершенно прав о. Вацлав Хрыневич, когда

пишет: “Уже взгляд в близкое будущее показывает, что такого рода возвышенные дела не совершаются слишком часто. Иногда их приходится дожидаться целые десятки лет. Они обращают наш взгляд к лучшему будущему и открывают новую страницу истории”. Хрыневич видит Баламандское соглашение продолжением таких эпохальных событий в истории Церкви XX века, как встреча Павла VI с Патриархом Афинагором в Иерусалиме (1964), совместная отмена анафемствований Константинополем и Римом (1965) и публикация “Томос агапис” (“Книга любви”) — избранных высказываний высоких представителей православной и католической Церкви, где часто встречается термин “Церкви-сёстры” (1971). Впервые его употребил Патриарх Афинагор в письме кардиналу Аугусто Беи (1962), а у католиков он появился в документе II Ватиканского собора “Unitaris redintegratio” (“Восстановление единства”, ноябрь 1964). Иоанн Павел II говорил в июне 1991 г. в одной из православных церквей Белостока: “Сегодня мы яснее видим и лучше понимаем, что наши Церкви суть Церкви-сёстры. Это не просто фигура вежливости, это основная экуменическая категория еkkлесиологии” ... Сегодня к этому перечню можно прибавить по крайней мере два документа Иоанна Павла II, относящихся к 1995 г.: апостольское послание “*Orientale lumen*” (“С Востока свет”) и энциклику (окружное послание) “*Ut unum sint*” (“Да будут едино”).

В послании “С Востока свет”, которое можно считать первым творческим ответом Папы на Баламандское соглашение, Иоанну Павлу II так хорошо удалось описать мистические и монашеские традиции православного Востока, что Сергей Хоружий, выдающийся представитель и знаток православия, написал при публикации к русскому переводу: “Православная икона, литургическая музыка, аскетическая традиция осознаются здесь в качестве ценностей, внятных для католического сознания и способных питать его. Сближение становится внутренним и не может не приводить к осознанию общего духовного корня двух традиций, к созиданию единства христиан изнутри. (...) Выбор тем и акцентов тут очень точен. Эсхатологизм и холизм (религиозное осмысление телесности, материи, космоса), идеал обожения, стержневая роль сферы подвига, монашеско-аскетической традиции — все это действительно ключевые моменты православного мирозерцания; то, как представлена здесь православная традиция, не расходится с ее собственным пониманием себя” (“Вопросы философии”, 1996, №4).

А в энциклике “Да будут едино” Иоанн Павел II затронул тему папского примата и предложил провести об этом дискуссию с

православными и протестантами. Он писал, что в прошлом, к сожалению, примат епископа Римского часто рассматривался как привилегия, а не обязательство и служение: “Я убежден, что несу в связи с этим особую ответственность, прежде всего в том, чтобы констатировать экуменические чаяния большинства христианских общин и, внемля обращенному ко мне запросу, найти ту форму осуществления примата, который, никоим образом не отказываясь от сущности своего назначения, был бы открыт к новой ситуации. (...) Не может ли реальное общение, хоть и несовершенное, но существующее между всеми нами, побудить ответственных церковных лиц и богословов начать вместе со мной братский терпеливый диалог на эту тему, в котором мы могли бы выслушать друг друга, не вдаваясь в бесплодные споры, имея в мыслях лишь волю Христа о Его Церкви и проникаясь Его призывом: „и они да будут в Нас едино, — да уверует мир, что Ты послал Меня” (Ин. 21, 17)?” (приводим по официальному ватиканскому переводу с небольшими стилистическими поправками. — Пер.).

Паломничества в православные страны

Иоанну Павлу II не удалось ступить на русскую и белорусскую землю, не побывал он и на Кипре, в Сербии и Македонии. Прибавим, что Македония была уже почти готова принять Папу в 1993 г., когда он планировал побывать в осажденном Сараеве, в Загребе и Белграде. Однако югославское паломничество не осуществилось из-за бурных военных действий на Балканах, а позднейшие события уже только усиливали его невозможность. Обострившиеся конфликты прошлого успешно оказывали сопротивление экуменическим замыслам Иоанна Павла II, поддержанным многими участниками обеих сторон православно-католического диалога. Однако в мае 1999 г. состоялось наконец паломничество Папы в Румынию — первое в страну с православным большинством населения со времени разделения Церквей — с 1054 года! Значение этого события, несомненно, оценил глава Румынской Православной Церкви Патриарх Феоктист, который, приветствуя высокого гостя, сказал, что если второе тысячелетие христианства началось разделением Церквей, то теперь, когда оно на исходе, возникла немалая надежда на восстановление единства.

Паломничество проходило в атмосфере понимания того, что хочет сказать Папа, который призывал к взаимопониманию все христианские Церкви в Румынии. “В вашей истории различные течения христианства — латинское, константинопольское и славянское — соединились с изначальным духом вашего народа. Это ценное религиозное наследие, — говорил он,

обращаясь к местным католикам, — сохранено вашими греко-католическими общинами и вашими братьями из Румынской Православной Церкви”. Папа выразил также радость по поводу падения коммунизма и поддержку европейским устремлениям Румынии как “страны, соединяющей Восток с Западом”, где “скрещиваются пути Центральной и Восточной Европы”.

“Слава Богу, — продолжал он, — после суровой зимы коммунизма наступила весна надежды. После исторических событий 1989 го и в Румынии начался процесс восстановления правового государства, опирающегося на соблюдение свобод, в том числе и религиозной свободы. Этот процесс, конечно, сталкивается с трудностями, его надо продолжать изо дня в день, защищая правозаконность и укрепляя демократические институты. Я верю, что в деле социального обновления ваша страна сможет рассчитывать на политическую и финансовую поддержку Евросоюза, с которым Румыния связана своей историей и культурой”.

После эпохального румынского паломничества на пути Иоанна Павла II лежала православная Грузия — уже в ноябре 1999 года. Напомним, что Грузинская Православная Церковь — единственная нероссийская автокефальная Церковь на постсоветском пространстве. Статус Патриархата она обрела в 1012 г., в 1811 г. потеряла его, войдя в русскую Церковь, управлявшуюся Священным синодом в Петербурге. Грузинский Патриархат возродился одновременно с Московским, пережил большевистские времена, а в 1990 г. был окончательно признан Константинополем. Грузинское паломничество, разумеется, не могло по своей значительности равняться с румынским, но и в Грузии Иоанн Павел II ставил себе высокие цели. По его собственным словам, он с радостью побывал в этой древней стране, которая приняла христианство еще в IV веке, а на исходе второго тысячелетия христианства переживает новый основополагающий этап своей истории: Грузия, “пользуясь вновь обретенной независимостью, готовится отмечать 3000 летие своего существования и вместе с тем должна отвечать на важнейшие экономические и социальные вызовы. Однако она полна решимости отважно на них ответить, чтобы стать достойным доверия членом объединенной Европы”.

То, что Иоанн Павел II умеет одновременно обращаться к христианским традициям и поддерживать европейские чаяния всех православных стран, было особенно видно во время его паломничеств на Украину и в Болгарию. Первое из них, проходившее в июне 2001 г. под громкие протесты Московского Патриархата, стало новым этапом в осуществлении смелых представлений Папы о Европе от Атлантики до Урала, Европе,

дышащей двумя легкими — православным и католическим, Европе свв. Кирилла и Мефодия, св. Бенедикта, Эразма Роттердамского и Федора Достоевского, Ядвиги Анжуйской и Петра Могилы, Андрея Шептицкого и Иосифа Слипого, Конрада Аденауэра и Андрея Сахарова. В своих киевских и львовских проповедях Иоанн Павел II защищал тезис о принадлежности Украины к христианской Европе, в частности обосновывая это тем, что ее величайшие мыслители — Петр Могила и Григорий Сковорода — умели увидеть и описать общее поле веры и разума. На практике это означало поиски взаимопонимания гуманизма с христианством, *диалога человека с человеком перед лицом Бога*. Обращаясь ко всем гражданам Украины, “от Донецка до Львова, от Харькова до Одессы и Симферополя”, Папа подчеркивал, что эта страна на протяжении многих веков обладала “особым призванием как граница между Востоком и Западом” и “была привилегированным перекрестком разных культур, точкой встречи культурных сокровищ Востока и Запада”.

Экуменический аспект паломничества Иоанна Павла II в Болгарию в мае 2002 г. был обращен и к исповедникам православия в других частях Европы — в Сербии, Белоруссии и прежде всего в России. Произнося речь в Рильском монастыре, Папа сослался на традиции русского православия, говоря о св. Серафиме Саровском и богослове Павле Евдокимове. От имени латинской Церкви он произнес апологию восточных монашеских традиций: “Чем же была бы Болгария без Рильского монастыря, который в самые темные времена отечественной истории поддерживал пламя в факеле веры? Чем была бы Греция без святой горы Афон? Или Россия — без той мириады обителей Духа Святого, которые позволили ей преодолеть ад советских гонений?”

Встречаясь в Софии с представителями науки, культуры и искусства, Папа призывал Европу строить единство, не пренебрегая христианством, и одновременно предостерегал ее от возврата к жестокому наследию XX века: “Тот, кто хочет действительно трудиться при созидании подлинного европейского единства, должен принимать во внимание исторические факты, красноречие которых неопровержимо. (...) Сталкивать на обочину религию, которая внесла и продолжает вносить свой вклад в развитие культуры и гуманизма — вклад, дающий Европе справедливые основания гордиться, — это для меня проявление несправедливости (...). Когда мы оборачиваемся назад, то должны признать, что рядом с Европой, континентом культуры, с характеризующими ее великими философскими, художественными и религиозными

движениями; рядом с Европой, континентом труда, с ее достижениями прошлого века в технологии и информатике, — существует, к сожалению, Европа тоталитарных режимов и войн, Европа крови, слез и самых ужасающих жестокостей”.

По таким основополагающим вопросам Папа очень часто говорил в один голос с виднейшими иерархами всей православной Церкви, которые в таких случаях обычно оставляли свои извечные претензии к Ватикану и католическому миру. Так было во время паломничества Иоанна Павла II в Грецию в мае 2001 г., и прибавим, что это было первое посещение Папой Римским греческой земли почти за 13 веков: последним Папой Римским, побывавшим в Греции — т.е. в тогдашней Византийской империи, — был в 710 г. Константин I... Против приезда Иоанна Павла II громко протестовали многочисленные группы греческих иерархов и православных мирян. Однако огромный экуменический эффект — после теа сулра Иоанна Павла II от имени всей католической Церкви и после его совместного заявления с архиепископом Афинским и всея Греции Христодулом — совершенно заслонил опасения православных фундаменталистов. Сначала Папа попросил у греков прощения “за все былые и сегодняшние ситуации, в которых сыновья и дочери католической Церкви согрешили делом и бездействием против своих православных братьев и сестер”, в особенности же за “катастрофическое разграбление города Константинополя” латинскими крестоносцами в 1204 году.

Однако еще важнее и для Папы, и для архиепископа Афинского было будущее Западной и Восточной Европы и достойное место для религии в процессе ее объединения. В этом духе надежды и тревоги главы обеих Церквей огласили на афинском Ареопаге совместное заявление: “Мы радуемся успеху и прогрессу Европейского Союза. Замыслом его первых учредителей было единство европейского континента в одном гражданском организме без утраты нациями их самосознания, традиций и самобытности. Однако появляющаяся тенденция к преобразованию некоторых европейских стран в секуляризованные государства, без малейших отсылок к религии, — это регресс и отказ от духовного наследия. Мы призваны активизировать свои усилия, чтобы могло наступить объединение Европы. Сделаем же всё, что в наших силах, чтобы христианские корни Европы и ее христианская душа остались ненарушенными”.

Затем Иоанн Павел II отправился в Сирию, где, в частности, принял участие в экуменической встрече в греко-

православном кафедральном соборе Успения Богородицы в Дамаске — вместе с Патриархом Антиохийским и всего Востока Игнатием IV Хазимом. Тем временем архиепископ Христодул поспешил в Москву с радостной вестью об успехах православно-католического диалога. Однако холодный ответ патриарха Алексия II прозвучал как отповедь греческих мудрецов в ареопаге апостолу Павлу, когда тот объяснял смысл воскресения мертвых: “...об этом послушаем тебя в другое время”.

Фундамент надежды

Не должно ли это свидетельствовать, что миссия Иоанна Павла II в деле взаимопонимания католичества и православия не была понята? Сегодня ясно видно, что “православный труд” Иоанна Павла II — Папы, который никогда не подчинялся исторической необходимости, а героически творил историю, — не могло полностью свершиться в ходе его понтификата и что его преемникам предстоит неустанно его продолжать. Ибо как говорит Иоанн Богослов: “один сеет, а другой жнет”.

ХРОНИКА (НЕКОТОРЫХ) ТЕКУЩИХ СОБЫТИЙ

• “В катастрофе военного самолета CASA трагически погибли бригадный генерал Анджей Анджеевский, полковник Дариуш Мацёнг, полковник Ежи Пилат, подполковник Войцех Маневский, подполковник Збигнев Ксёнжек, подполковник Дариуш Павляк, подполковник Здислав Цеслик, майор Роберт Май, майор Мирослав Вильчинский, майор Гжегож Юлга, майор Здислав Халадус, майор Петр Фирлингер, майор Кшиштоф Смолуха, капитан Кароль Шмигель, капитан Лешек Земский, капитан Гжегож Степанюк, поручик Роберт Кузьма, поручик Михал Смычинский и сержант Януш Адамчик. Глубоко соболезнуя, разделяю боль и скорбь с их семьями, родными и близкими. Президент Республики Польша Лех Качинский с супругой”. (“Жечпосполита”, 25 янв.)

• “В катастрофе 23 января погиб почти весь командный состав 1 й Свидвинской бригады тактической авиации и подчиненных ей подразделений. Бригада имеет на вооружении бомбардировщики Су-22 и истребители МиГ-29”. (“Дзенник”, 25 янв.)

• Полковник Эугениуш Гардас, заместитель командующего 1 й Свидвинской бригадой тактической авиации: генерал Анджей Анджеевский “летал в основном на Су 22. На этих самолетах он достиг высшего уровня летного мастерства, был летчиком-испытателем. У пилота должна быть не только идеальная выучка, но и везение. До сих пор у генерала Анджеевского не было в нем недостатка, как и в твердости духа. При катапультировании от его кресла оторвалась надувная лодка. Он упал в Балтийское море в одном спасательном жилете. Прежде чем его нашли, он провел два часа в холодной воде. Многие другие не выдержали бы этого”. (“Газета wyborча”, 25 янв.)

• 4 февраля скончался большой друг нашего журнала Стефан Меллер. Он был послом Польши в Москве в 2002-2005 гг., в особенно трудный период украинской “оранжевой революции” и конфликта вокруг Союза поляков Беларуси. Ранее, в 1996-2001 г. он был послом во Франции. Министерство иностранных дел он возглавил в 2005 г., а в 2006 м ушел в отставку, сочтя, что дальнейшая работа в правительстве несовместима с

ценностями и принципами, которых он придерживается. Он был профессором истории Варшавского университета, проректором варшавской Высшей государственной театральной школы и научным директором Высшей школы социальных наук в Париже (EHESS). В 1968 г. подвергся гонениям во время антисемитской кампании. В течение шести лет запрета на научную работу был архивариусом, кассиром, преподавателем иностранных языков, репетитором, переводчиком. Стефан Меллер был выдающимся знатоком Франции, особенно периода революции, замечательным переводчиком, поэтом и в то же время выдающимся представителем Польши, “государственным служащим, преданным службе, а это больше, чем дипломат”, — как сказал о нем его многолетний друг Михал Комар. В последние дни жизни он еще успел увидеть первые экземпляры написанной Комаром книги-интервью “Мир по Меллеру” и услышать великолепные рецензии, высказанные ему лично Владиславом Бартошевским и Брониславом Геремеком.

- “В воскресенье уже в 16 й раз прошел финал Большого оркестра праздничной помощи Юрека Овсяка. Хотя подсчет собранных денег еще продолжается, одно известно наверняка: побит очередной рекорд. Уже в понедельник утром на счет фонда было переведено свыше 30 млн. злотых. Это столько, сколько удалось собрать в прошлом году за все время акции, т.е. до 8 марта”. (“Дзенник”, 15 янв.)

- Феномен Большого оркестра. По мнению директора лодзинской больницы им. Марии Конопницкой проф. Ежи Станчика, это “явление, уникальное в Европе, а может, и во всем мире. Акция заключается в том, чтобы помогать детям — хотя они вообще не жалуются. И никогда не будут жаловаться. Это пациенты, которые не ноют (...) Чтобы не улыбаться, такой пациент должен очень страдать (...) Оркестр подхватил это. Мы не запугиваем людей страданиями, а показываем, что каждый может что-то дать другому — совершенно спонтанно (...) Благодаря силе своей личности Овсяк мобилизовал общество (...) Замечательно, что в этот день все люди равны. Неважно, сколько денег они бросили в кружку, откуда они родом (...) Благодаря оркестру мы достигли огромных успехов в кардиологии и кардиохирургии. Мы занимаем одно из первых мест в Европе по устранению врожденного порока сердца (...) Если бы не оркестр, то во многих наших больницах просто не было бы аппаратуры. Больницы получают всё — начиная с детских ложечек, весов и инсулиновых помп и кончая точной аппаратурой, позволяющей диагностировать многие болезни (...) Столь масштабной акции, как ежегодный оркестр, нет

нигде в мире. Как педиатр я надеюсь, что оркестр будет играть всегда. До конца света и на один день дольше”. (“Дзенник”, 14 янв.)

- “По предварительным данным Главного статистического управления (ГСУ), в прошлом году ВВП вырос на 6,5%. Это самый высокий темп экономического роста за последние 10 лет (...) По данным ГСУ, рост инвестиций составил 20,4% (...) Потребление домашних хозяйств за год увеличилось на 5,2%”. (“Дзенник”, 31 янв.)

- Согласно опросу “Евробарометра”, проведенному по заказу Брюсселя, 71% поляков доволен, что Польша — член Евросоюза. 83% утверждают, что членство приносит Польше выгоду, а 9% придерживаются противоположного мнения. 61% доверяет Еврокомиссии, 60% — Европарламенту и 55% — Совету ЕС (в Польше решениям правительства доверяют 17%, а Сейма — 10%). 76% поляков выступают за дальнейшее расширение ЕС. (“Дзенник”, 4 февр.)

- “По подсчетам ГСУ, в эмиграции живут 2 млн. поляков. Больше всего в Великобритании — 580 тысяч. Со времени вступления Польши в ЕС число уезжающих удвоилось — в конце 2004 г. в странах Евросоюза временно проживало 750 тыс. поляков”. (“Тыгодник повсехный”, 10 февр.)

- “Выезд в Америку интересует поляков все меньше. Только за последние два года число виз, выданных американскими консульствами, уменьшилось на 15% (...) В прошлом году 90 дневные въездные визы в США получили 113 тыс. поляков (...) Это на 16 тыс. меньше, чем два года назад”. (“Дзенник”, 30 янв.)

- “В 2007 г. значительно уменьшилось число желающих перейти на другую работу. В третьем квартале таких людей было всего 722 тыс., т.е. 4,7% от общего числа занятых (...) Годом раньше их число составляло 943 тыс. человек (6,3% от общего числа занятых) (...) Во-первых, быстро росли зарплаты (...) Во-вторых (...) фирмы стали больше заботиться о своих работниках — например, предлагая им расширенные социальные пакеты или индивидуальные планы карьеры”. (“Жечпосполита”, 14 янв.)

- “У полуторамиллионной армии владельцев частных предприятий есть выбор между полутора десятками организаций, таких как Польская конфедерация частных предпринимателей „Левиафан”, Business Center Club, Всепольская экономическая палата, Конфедерация польских

предпринимателей. Однако 98% предпринимателей не принадлежит ни к одной из них”. (“Политика”, 2 февр.)

- “Работники бюджетного сектора и государственных предприятий требуют повышения зарплаты. Для удовлетворения их требований необходимо 13,7 млн. злотых (...) Сумма, которой они добиваются, колеблется от 200 до 1500 злотых на одного человека (...) Повышения зарплаты требуют учителя (...) врачи и медсестры (...) работники налоговых служб и таможенники (...) шахтеры и железнодорожники”. (“Жечпосполита”, 19–20 янв.)

- “Польские границы парализованы. Вчера из-за нехватки таможенников прекратили работу автомобильные пропускные пункты на границе с Украиной (...) морской терминал в Гдыне и железнодорожный — в Малашевичах. Транспортные предприятия теряют деньги и угрожают блокадой Варшавы (...) Таможенники массово уходят в отпуска и берут больничные. Таким образом они требуют повышения зарплаты, усиления правовой защиты, пенсионных льгот и расширения штатов”. (“Дзенник”, 25 янв.)

- “Более 3 тыс. фур стоят в очередях, длина которых составляет в общей сложности 90 километров. Приостановлен экспорт по железной дороге. Потери транспортных фирм оцениваются в несколько сот миллионов злотых (...) Правительство в Минске хочет, чтобы Брюссель выплатил белорусским транспортникам компенсации за потери, связанные с блокадой польских пограничных пунктов”. (“Жечпосполита”, 29 янв.)

- “Конец забастовки на границах. Таможенники выходят на работу (...) Грузовики тронулись, очереди уменьшились, хотя предложения правительства остались прежними: 500 злотых прибавки и отмена предписаний, согласно которым при подозрении в коррупции таможенник автоматически теряет работу”. (“Дзенник”, 1 февр.)

- “Спираль финансовых ожиданий раскрутилась не на шутку, а борющиеся за свои интересы (иногда совершенно справедливо) профессиональные группы начинают терять инстинкт самосохранения (...) Правительство Дональда Туска оказалось в крайне неприятной и чрезвычайно неблагоприятной ситуации — его заливают волна требований повысить зарплату. Внезапно вырвалось наружу то, что нарастало годами”. (Войцех Романский, “Жечпосполита”, 31 янв.)

- “Польша находится в лучшей экономической ситуации за всю свою тысячелетнюю историю. ВВП растет в темпе более 6%,

уровень безработицы самый низкий за последние десять лет и будет продолжать падать. Несмотря на пертурбации в мировой экономике, конъюнктура в ближайшее время должна оставаться благоприятной. При одном условии — что мы сами ее не ухудшим. А ухудшение экономической ситуации, похоже, предстоит: протестуют врачи, медсестры, учителя, шахтеры и таможенники. Забастовками грозят также железнодорожники, прокуроры и полицейские, а „Солидарность” собирается объявить всепольскую акцию протеста. Столь масштабных протестов в Третьей Речи Посполитой еще не было. Никогда не было и столь высоких требований, в среднем составляющих больше половины средней зарплаты или, если угодно, денег, которые получает половина людей, работающих в областях, где зарплату определяет рынок. Это просто контрреволюция (...) Протестующие твердо настаивают на своих требованиях и не считаются с их последствиями (...) В Польше бастуют отнюдь не те, кого особенно эксплуатируют, кому грозит безработица или кто мало зарабатывает. Напротив, протестуют профессиональные группы, уверенные, что они не останутся без работы, с самыми высокими в стране зарплатами и широкими социальными льготами (...) Они уверены, что им ничто не угрожает, ибо их забастовки, независимо от экономических и общественных последствий, остаются безнаказанными. К тому же они уверены, что вследствие дезорганизации важных сфер жизни их требования будут практически полностью выполнены”. (Михал Зелинский, “Впрост”, 10 февр.)

- “Совет монетарной политики повысил учетную ставку Польского национального банка на 25 базисных пунктов — до 5,25% (...) Помимо ситуации на рынке труда это решение было обусловлено также экономическим ростом, удерживающимся на уровне выше потенциального, сильными требованиями улучшения оплаты труда и характером бюджета на 2008 год. Кроме того, рост цен на продукты питания рассматривается уже не как кратковременный спад предложения, но как устойчивый процесс, который в долгосрочной перспективе будет влиять на инфляцию (...) Из-за растущих требований работников государственного сектора тенденция к повышению зарплаты, способствующая росту инфляции, будет сохраняться”. (“Дзенник”, 31 янв.)

- “Последние четыре года Агентство материальных резервов систематически распродает резервы продуктов питания, чтобы получить деньги на свое содержание и хранение остальных запасов — лекарств и топлива (...) Мяса у Агентства уже вообще нет, а запасов зерна хватит самое большее на один день (...)

Страна находится в безопасности, когда резервов хватает по меньшей мере на 30 дней”. (“Газета wyborcza”, 29 янв.)

• Тадеуш Сирийчик, бывший министр промышленности и министр транспорта, а также бывший представитель Польши в совете директоров Европейского банка реконструкции и развития: “Время великих реформ кончилось. Большинство людей, для которых главной мотивировкой и мобилизующим фактором было реформирование страны, уже ушли из политики или были отодвинуты на второй план. Это неслучайно (...) Когда такое время кончается, в политику приходят представители общества, способные поддерживать с ним хорошие отношения и не „угрожать” тем, что они будут от него чего-то требовать или, не дай Бог, ожидать жертв (...) „Гражданская платформа” (ГП) — несомненно, более прорыночная партия, чем „Право и справедливость” (ПиС), но и она решила не делать программу реформ своей визитной карточкой (...) Сегодня многое можно сделать, не прибегая к революционным и политически рискованным изменениям. Достаточно лишь последовательно внедрять тщательно разработанные программы по улучшению качества жизни населения, совершенствованию государства, учреждений и публичных услуг, и контролировать их выполнение так, чтобы это было заметно обществу (...) Люди ГП были и остаются прежде всего политиками, а не реформаторами. Правительство Туска, памятуя о недавних успехах популистов — „Самообороны” и „Лиги польских семей”, — действует осторожно. Каждое правительство должно найти равновесие между своей программой и общественным согласием. Туск явно сместил центр тяжести в сторону поисков одобрения (...) Революция кончилась. Разработка партийных программ становится лишь элементом пиара. Речь идет о том, чтобы показать подготовленные документы без особого желания претворять в жизнь радикальные идеи и без внутрипартийной дискуссии о программе (...) Туск — ловкий политик (...) Он стоит перед лицом различных интересов разнообразных профессиональных групп (...) и органов местного самоуправления (...) Вдобавок уровень безработицы падает. Соответственно поле для маневра достаточно широкое и, скорее всего, этот шанс не будет упущен (...) Политические партии (...) это группы людей, заинтересованных в сохранении своих позиций и в приходе к власти. Они борются не за программы, а за имидж. Лидер становится фирменным знаком партии, а все остальные подыгрывают ему (...) Пока что „Платформа” очень ловко создает себе образ дружелюбной и бесконфликтной партии (...) Она подает себя как группировку с разумными экономическими взглядами, но готовую к

переговорам (...) современную, но далекую от крайностей”.
 (“Газета wyborcza”, 2-3 февр.)

• Согласно опросу ЦИМО, в конце января за ГП проголосовали бы 54% поляков (что дало бы ей 301 место в Сейме), за ПиС — 27% (131 место), за “Левых и демократов” — 9% (26 мест), за крестьянскую партию ПСЛ — 4%, за “Самооборону” — 3%, за “Лигу польских семей” — 1%. Избирательный барьер составляет 5%. (“Дзенник”, 31 янв.)

• “Правление ПиС привело к деформации не только политики, но и всей публичной сферы. Часть СМИ вжилась в роль пропагандистского рупора и приводного ремня власти (...) Раньше СМИ не позволяли политикам использовать себя так явно и в таком масштабе, не были с властью в столь близких отношениях (...) Независимых, критически настроенных СМИ становилось все меньше (...) Бóльшая часть СМИ более или менее открыто поддерживала власти. После выборов журналистика пытается найти свое место в новой ситуации”.
(Томаш Волек, “Газета wyborcza”, 2-3 февр.)

• Согласно международному опросу Института Гэллопа, 14,2% поляков доверяют журналистам, 10,4% — учителям, 8,8% — религиозным лидерам, 5,3% — политикам, 4,9% — профсоюзным деятелям. Религиозным лидерам больше всего доверяют пенсионеры (15%) и работники умственного труда (11%), меньше всего — школьники и студенты (6%), работники торговли и сферы услуг (5,6%), а также безработные (4,9%).
 (“Тыгодник powszechny”, 3 февр.)

• Согласно опросу ЦИОМа, 73% поляков положительно оценивают армию, 68% — органы местного самоуправления, 66% — католическую Церковь, 41% — Сейм. Каждый третий опрошенный положительно оценивает деятельность президента Леха Качинского. (“Жечпосполита”, 31 янв.)

• “В свободное время поляки больше всего любят смотреть телевизор (...) Такую форму отдыха выбирают 67% опрошенных (...) Каждый третий поляк (34%) занимается „ничегонеделанием”, 28% слушают музыку или читают газеты и журналы, а 24% просто хотят выспаться (...) Книги читают 19% опрошенных, в кино, театр или на выставки ходят 6%, а спортом занимаются 9%”. (“Пшеглэнд”, 20 янв.)

• “Начиная с 1987 г. Шимон Моджеевский (1969 г.р.) занимается приведением в порядок и реконструкцией кладбищ всех вероисповеданий, а также других памятников материальной культуры в Бещадах, Низких Бескидах и Расточье. Благодаря

организованным им ремонтным лагерям реставрационные работы велись почти на 900 объектах. В прошлом году его Неформальная группа каменотесов “Магурыч” преобразовалась в общество”. Предлагаем вашему вниманию фрагменты интервью с Шимоном Моджеевским: “Сначала приходили в основном старшеклассники или студенты младших курсов. Сейчас всё немного изменилось, и ко мне приходят главным образом старшекурсники и те, кому уже за тридцать. Один парень, директор крупной международной фирмы, приезжает регулярно — специально берет отпуск, чтобы приехать к нам и поработать. Люди (...) не верят, что мы делаем это на общественных началах. Подавляющее большинство подозревает или уверено, что мы на этом зарабатываем (...) За 21 год мы побывали в 80 местностях и отремонтировали почти сто различных кладбищ”. (“Жечпосполита”, 9-10 февр.)

• “В понедельник министр культуры Богдан Здроевский подписал с руководителем российского Федерального агентства по культуре и кинематографии Михаилом Швыдким соглашение об организации Сезона польской культуры в России. В рамках этого мероприятия будет продемонстрирован фильм Вайды „Катынь” (...) Фильм уже посмотрел посол России в Варшаве Владимир Гринин. „Сеанс произвел на него большое впечатление”, — говорят сотрудники посольства”. (“Дзенник”, 23 янв.)

• Виктор Ерофеев: “Русско-польская история очень болезненна. Она изобилует ужасными событиями, имевшими катастрофические последствия. Как дореволюционная Россия, так и советская империя причинили Польше и полякам много зла. Это невозможно преодолеть в одночасье (...) Во времена Ельцина все шло к улучшению отношений. Но когда потом, в начале XXI века, Россия взяла на себя исторические обязательства Советского Союза, всё опять стало меняться к худшему. Думаю, это временная ситуация. Однако это была большая ошибка — принимать хотя бы такое сомнительное наследие, как пакт Риббентропа—Молотова. Что касается российско-польских отношений, то они будут меняться в нужном направлении. Не потому, что политики отказались от памяти о прошлом, но ради торговых интересов или культурного обмена (...) Во времена своего правления президент Путин не поддерживал близких контактов с Польшей. Вероятно, это объяснялось его отрицательным отношением к некоторым аспектам польской политики. Но речь здесь вовсе не идет о предубеждении против самого народа, о какой-то полонофобии. Всё это уходит в прошлое. В свою очередь в Польше есть множество негативных

стереотипов, касающихся русских, но они не находят отражения в государственной политике (...) Надо ясно себе сказать, что сейчас до дружбы еще далеко”. (“Дзенник”, 26–27 янв.)

• Анджей Новак, профессор Ягеллонского университета и Института истории ПАН: “Если бы Россия придерживалась системы ценностей, близкой к той, на которую опирается Евросоюз, если бы она выбрала сходное направление развития — не в сторону централизации, всемогущества спецслужб и господства над более слабыми, а в сторону демократизации и плюрализма СМИ, — то (...) у нас были бы основания задуматься, не следует ли открыться к ней (...) Россия, управляемая людьми спецслужб, не может быть таким же партнером, как любой другой, не может быть безопасным партнером (...) К счастью, есть русские, пытающиеся от своего имени разобраться в имперском наследии, — например, замечательный историк Андрей Зорин (...) Взаимопонимание с Россией важно и нужно, но не с той Россией, которой правят наследники КГБ и ГРУ. Были, есть и будут разные России, точно так же, как различны и враги России. Так что я советовал бы не связываться с любым врагом России и не выступать против любой России”. (“Жечпосполита”, 2–3 февр.)

• “Россия не имеет права вето на те решения, которые принимает польская сторона”, — сказал министр Сергей Лавров по окончании переговоров с польским министром иностранных дел Радославом Сикорским. Таков был ответ российского министра на вопрос о возможной реакции России на размещение в Польше элементов американской ПРО. “Мы хотим, чтобы наша позиция была понята”, — объяснил Лавров, подчеркнув, что он доволен ходом польско-российских консультаций по данному вопросу. Кроме того, он заверил, что Россия не намерена оказывать давление на Польшу и на других участников проекта. (“Жечпосполита”, 22 янв.)

• “ПРО. Россияне опять угрожают Польше. „Попытки сделать Польшу государством “на линии конфронтации” всегда приводили к трагедиям — так, во II Мировой войне поляки потеряли почти каждого третьего жителя”, — сказал представитель России при НАТО Дмитрий Рогозин (...) Тема элементов ПРО снова обсуждается в России в связи с предстоящим визитом в Москву премьер-министра Туска”. (“Газета выборча”, 4 февр.)

• “За несколько дней до прибытия [в Москву] Дональда Туска „Независимая газета” ставит под сомнение правду об убийстве польских офицеров сотрудниками НКВД. Журналисты избрали

своей мишенью выдвинутый на „Оскар” фильм Анджея Вайды „Катынь”: „В 1940-х годах под Смоленском было совершено чудовищное злодеяние. Однако действительно ли вина за эту трагедию ложится на руководителей СССР, как утверждается в новом произведении пана Вайды?”” (“Жечпосполита”, 5 февр.)

• Из интервью с председателем комитета Думы по международным делам Константином Косачевым: “Россия никоим образом не хочет угрожать Польше и не будет этого делать. В вашей стране могут быть размещены элементы американской системы ПРО, но я считаю, что все поляки должны отдавать себе отчет в том, к каким это приведет последствиям, и иметь об этом полную информацию. Если вы предоставите свою территорию для размещения установок, принадлежащих американской армии, то они окажутся под контролем и, как я уже сказал, под прицелом российской оборонной системы (...) То, что я сказал в понедельник, было реакцией на визит Сикорского в США”. (“Дзенник”, 6 февр.)

• Из интервью с Глебом Павловским: “Если в Польше появятся элементы ПРО, России придется скорректировать свою оборонную систему (...) Наша позиция как по вопросу элементов ПРО, так и по другим вопросам — например, вступления Украины в НАТО — не может измениться”. (“Дзенник”, 6 февр.)

• Проф. Ежи Помяновский: “Ключ к восточной политике лежит не в Москве, а в Киеве (...) Разница между Польшей и Россией в подходе к Украине заключается в том, что за 18 лет независимости Украины Польша ни разу не проявляла стремления к господству, превосходству или хотя бы использованию Украины в своих целях. Украинцы об этом знают, видят это и ценят (...) На протяжении многих веков желание господствовать над Украиной было самым большим (хотя и не единственным) яблоком раздора в отношениях между Россией и Польшей. Независимость Украины устраняет, лишает смысла (...) этот конфликт. Это открыло путь к переговорам на конкретные темы (...) Россия уже не стоит на распутье. Она достигла половины того, к чему стремилась в годы правления Владимира Путина — обрела престиж великой державы. Новым — и более эффективным — оружием стали поставки газа (...) Россия — совершенно необходимый партнер в ОЭСР, ВТО и других международных организациях (...) Речь идет о том, чтобы она была партнером, а не гегемоном (...) Задача Туска заключается не в том, чтобы устранить конфликты между Польшей и Россией, а в том, чтобы найти цивилизованные пути их решения (...) В отношениях с Россией

мы должны избегать прежде всего разрыва с Украиной и гегемонии „Газпрома””. („Газета выборча”, 8 февр.)

• Проф. Адам Даниэль Ротфельд, бывший министр иностранных дел, уполномоченный правительства по контактам с Россией: “Владимир Путин примет Дональда Туска (...) Российская сторона пришла к выводу, что перегнула палку в ассертивности по отношению к Польше. Просто с их точки зрения такая стратегия дала плохие результаты. Оказалось, что влияния Польши в ЕС довольно, чтобы заблокировать соглашение России с Европой, в котором Москва очень заинтересована (...) В последние годы отношения между Польшей и Россией ухудшались не из-за мяса или избиения польских дипломатов, а из-за роли, которую Польша сыграла на Украине. Россия простила бы нам наши усилия, если бы не то, что они увенчались успехом. Однако сегодня этот фактор уже не имеет такого значения, ибо процесс укрепления украинского суверенитета идет совершенно независимо от Польши”. („Дзенник”, 5 февр.) “В прошлом году товарооборот между Польшей и Россией достиг 17 млрд. долларов — для Польши это нешуточная сумма. Этот рост свидетельствует о том, что Россия не хотела полностью замораживать наши отношения (...) Думаю, России понадобилось некоторое время, чтобы до конца осознать, что Польша — суверенное государство. Польша впервые будет говорить с Москвой с позиции члена ЕС и НАТО. Россия сегодня — это уверенная в себе страна, получающая огромные доходы от продажи нефти и газа. Польша провела очень глубокие преобразования и, пожалуй, достигла самого большого экономического успеха за всю свою историю. Польша — успешная страна (...) и с Россией должна разговаривать как с партнером”. („Газета выборча”, 8 февр.)

• Согласно опросу ГфК “Полония”, “почти две трети поляков положительно оценили решение Дональда Туска поехать в Москву именно сейчас (...) Однако подавляющее большинство (две трети опрошенных) хочет, чтобы Варшава проводила по отношению к Москве более решительную политику, чем до сих пор. Поляки видят, что Россия относится к Польше, как к стране „второй категории” (79%). Не нравятся им и протесты Кремля в связи с планами строительства в нашей стране элементов американской ПРО. По мнению 61% опрошенных, Россия не имеет права этому препятствовать. Хотя две трети поляков считают Россию недемократической страной, они не боятся ее (67%). Не боятся они и угроз нашей стране, озвучиваемых российскими политиками и генералами (50%)”. („Жечпосполита”, 8 февр.)

- Из интервью с премьер-министром Дональдом Туском: “Российская стратегическая перспектива не изменится — не изменится и наша картина мира. Безопасность нам гарантируют США, НАТО, Евросоюз. Наша семья — это Европа. Между Польшей и Россией или, говоря шире, между Россией и ЕС существуют реальные расхождения интересов (...) Коль скоро эти расхождения есть, а история продолжает разделять нас, надо сделать в три раза больше, а не в три раза меньше, чтобы наши отношения улучшились”. (“Политика”, 9 февр.)

- Президент Владимир Путин: “Польша остаётся важнейшим для нас торгово-экономическим партнёром в Европе (...) Мы знаем, что у нас в Польше много друзей. Уверяю вас, господин премьер-министр, в России друзей Польши не меньше”. Хозяин Кремля подчеркнул, что проблемы в двусторонних отношениях “не следует драматизировать”. “Несмотря на наши с вами усилия испортить эти отношения, нам ничего не удалось”, — пошутил российский президент во время встречи с Дональдом Туском (...) Обе стороны остались при своем мнении. “Кажется, Россия смирилась с тем, что Польша сама примет решение о строительстве баз ПРО на своей территории, точно так же, как Россия сама примет решение о строительстве северного газопровода”, — сказал Туск журналистам. (“Жечпосполита”, 9–10 февр.)

- “По мнению Сергея Лаврова, Польша не должна опасаться проектов диверсификации направлений экспорта сырья. „Мы не собираемся закрывать трубопровод, по которому российский газ идет через территорию Польши в Европу, и сокращать объем поставок”, — заверил российский министр”. (“Дзенник”, 22 янв.)

- “Декабрьская утечка солярки в Вислу показала, что мы совершенно беспомощны перед лицом возможной угрозы. Когда на Висле появилось первое пятно солярки, для ее нейтрализации был использован сорбент — сыпучая субстанция из древесного угля, способная разлагать нефть. Черные гранулы должны были впитывать токсическое вещество — после этого достаточно было собрать их с поверхности. К несчастью, они утонули, в результате чего отравленная субстанция оказалась на дне реки. Когда операция близилась к концу, на Висле появилось второе масляное пятно. До сих пор никто не в состоянии объяснить, откуда оно взялось (...) В общей сложности из трубы вытекло почти в семь раз больше солярки, чем сообщалось официально (...) Аварии вообще не случилось бы, если бы Предприятие по эксплуатации нефтепроводов „Дружба” взялось наконец за давно

планировавшийся ремонт перегруженной и пришедшей в негодность сети транспортировки (...) Утечку не зарегистрировали приборы, предупреждающие о падении давления в трубопроводе, зато ее зарегистрировали российские власти (...) Благодаря аварии россияне получили еще один аргумент (на этот раз экологический) в пользу постепенного уменьшения значения трубопровода „Дружба” и строительства трубопровода в обход Польши (...) Солярки, вытекшей в Вислу, хватило бы, чтобы наполнить восемь больших цистерн (271 кубометр) (...) При строительстве трубопровода „Дружба” в 60 х и начале 70 х срок его службы оценивался в 30–35 лет (...) Сегодня это одна большая часовая бомба”. (Марек Кенскравец, Яцек Келпинский, “Ньюсуик-Польша”, 3 февр.)

- “Началась ежегодная распродажа ценнейших пород польской древесины. Наш явор — один из самых дорогих в Европе: цена на него достигает 27 тыс. злотых за кубометр (...) 3,5 тыс. злотых платят в этом году на аукционе за лучшую дубовую древесину (...) На завершившемся на прошлой неделе в Кротошине аукционе дубовой древесины (...) было выставлено на продажу 1005 кубометров дуба. Возраст деревьев составлял свыше 180 лет”. (“Жечпосполита”, 22 янв.)

- “Начиная с 2000 г. популяция птиц уменьшилась во всей стране на 14% (...) В Варшаве их стало меньше на треть”. (“Жечпосполита”, 23 янв.)

- “Как сообщили в понедельник российские СМИ, Россельхознадзор обнаружил пестициды в польских яблоках. Партию 2,5 т свежих яблок из Польши исследовали калининградские инспекторы. Оказалось, что в яблоках содержится 0,22 + - 0,03 мг/кг оксифлуорфена (гербицидного средства). Российская норма допускает максимально 0,2 мг/кг (...) Россия не импортирует польские яблоки напрямую”. (“Жечпосполита”, 29 янв.)

- “Отменен запрет на экспорт в Россию польских кормов и растительных продуктов — в частности, цветов и саженцев. Однако запрет на ввоз польских продовольственных продуктов все еще остается в силе (...) Оцениваемый в 300 млн. злотых в год экспорт польских продуктов прекратился два года назад”. (“Жечпосполита”, 19–20 янв.)

- “Российские железные дороги ввели запрет на провоз каких бы то ни было грузов и контейнеров в Чехию и Польшу через пограничный пункт Медика—Мостиска (...) Ранее (с 30 января) российская компания ввела аналогичный запрет в отношении пункта Мамоново-Бранево”. (“Дзенник”, 6 февр.)

- “По данным ГСУ, 8,6% всего польского экспорта идет в Россию и на Украину, а 8,7% польского импорта поступает из России”. (“Жечпосполита”, 29 янв.)

- “Начиная с 22 декабря число въехавших в Польшу белорусов уменьшилось на две трети (...) Раньше визу можно было получить в течение трех дней — теперь нужно ждать до девяти дней(...) Большинство белорусов подает документы на более дешевые визы за 35 евро, дающие право въезда только на территорию Польши. Приобрести шенгенскую визу за 60 евро, действительную в течение трех месяцев, могут себе позволить только самые состоятельные оптовики, едущие в Польшу за покупками”. (“Газета wyborcza”, 23 янв.)

- “Уже несколько дней с польско-украинской границы поступают тревожные сигналы. После нашего вступления в Шенгенскую зону украинцы не могут въехать в Польшу, так как во Львове невозможно получить визу. В знак протеста они блокируют пограничные пункты. Перед польским консульством во Львове люди кочуют по несколько дней. Дело доходит до потасовок. В очереди идет торговля номерками. Посредники за деньги предлагают помощь в получении польской визы”. (“Газета wyborcza”, 21 янв.)

- “Проблема виз касается прежде всего тех украинцев, которые живут приграничной торговлей и не интересуются шенгенскими визами. Для них важно, чтобы как можно скорее был подписан договор о т.н. малом пограничном движении (...) Венгрия и Словакия сумели решить этот вопрос, в то время как Польша плетется в хвосте (...) Мы должны показать украинцам, что улучшение отношений с Россией не окажет негативного влияния на наши связи с их страной”. (Богумила Бердыховская, “Жечпосполита”, 24 янв.)

- Богдан Осадчук: “Неписанным каноном польских государственных интересов был принцип, что Украина должна быть на первом плане. Так было при Валенсе, при Квасневском, и все говорило о том, что так будет при президенте Лехе Качинском. Но вот к власти пришел премьер-министр Туск и легкомысленно пренебрег этими основами. После выборов в Киеве ожидали его приезда, но он избрал другой путь (...) Одновременно начали сказываться ужасающие последствия вступления Польши в Шенгенскую зону. Украинцы остолбенели (...) Польско-украинские отношения загублены”. (“Жечпосполита”, 29 янв.)

- “Министр иностранных дел Радослав Сикорский и принимавший его министр иностранных дел Украины

Владимир Огрызко заявили в Киеве, что договор о малом пограничном движении вскоре будет подписан (...) Варшава подумает об открытии на Украине новых консульских отделов (в настоящее время они есть в Киеве, Львове, Луцке, Одессе и Харькове). Владимир Огрызко заверил, что власти Львова передадут нашему консульству новые помещения для выдачи виз". ("Жечпосполита", 30 янв.)

• Проф. Павел Спек: "Все опросы показывают, что по мере модернизации Польши и либерализации общественных отношений значительная часть поляков отнюдь не либерализуется и не открывается, а наоборот — закрывается. Многие из них занимают всё более консервативные, запретительные, авторитарные, нетерпимые позиции. За 10 лет показатель антисемитизма вырос почти в два раза. Усилились антифеминистские, антимусульманские, гомофобские настроения (...) Однако следует добавить, что в то же самое время в Польше растет процент анти-антисемитских позиций, а также возрождается интерес к еврейской культуре и истории. Ежегодный краковский фестиваль привлекает тысячи участников, появляются еврейские издательства (...) Более того, в Польше нет ни одной политической партии, считающей антисемитизм своим идеологическим столпом". ("Ньюсуик-Польша", 27 янв.)

• Свящ. Ромуальд Якуб Векслер-Вашкинель, преподаватель Люблинского католического университета: "Мне часто бывает стыдно, когда я слышу в церкви слова, не годящиеся для печати. Нам все еще очень далеко до учения Иоанна Павла II. У нас есть комиссия Епископата по диалогу с иудаизмом, день иудаизма, но на самом деле всё зависит от людей — в частности, от самих епископов (...) Позиция Церкви по отношению к евреям и иудаизму — это экзамен для самой Церкви. Кто встречает Христа, тот встречает и иудаизм. Но если я по-прежнему встречаюсь в Церкви с антииудаизмом, то как мне встретиться с Христом?" ("Газета wyborча", 19-20 янв.)

• "Книга Яна Томаша Гросса „Страх“ вызвала бурю еще до того, как появилась на полках книжных магазинов (...) Заместитель генерального прокурора Ежи Ангелькинг отдал распоряжение одному из прокуроров ознакомиться с текстом и решить, не следует ли возбудить против Гросса дело по статье 132а УК об „оскорблении польского народа“ (...) ”Страх“ рассказывает о польском антисемитизме после войны, о келецком погроме, об убийстве поляками евреев, спасшихся из пожара войны и вернувшихся в свои дома. „Страх“ вызывает боль, ибо показывает самые темные страницы польской истории (...)

дела, в которых мы как народ не исповедались (...) Гросс обвиняет Церковь, епископов, польскую интеллигенцию, простых людей (...) приводит документы (...) Историки очень скрупулезно перечисляют ошибки Гросса (...) Но в данном случае речь идет не о миллиметровой точности историка (...) Дело в чем-то большем. „Если в рамках преемственности поколений мы приписываем себе гордость за те или иные героические деяния наших предков, с которыми мы сами не имеем ничего общего, то точно так же нас некоторым образом касаются и объединяют их подлые действия”, — говорит Гросс (...) Уже ясно, что нас ждет очередная война за память и правду”. (Роберт Валентяк, “Пшеглэнд”, 20 янв.)

• “Я с изумлением узнал, что книгой занялась прокуратура, — это в нашей-то стране, где в киосках лежат антисемитские брошюры Лешека Бубеля, а о. Рыдзык, время от времени говорящий в эфире антисемитскую чушь, остается безнаказанным (...) Гросс пишет с польской точки зрения и для поляков. Эта книга — прежде всего о польско-польских отношениях. „Я сохраняю верность собственной традиции, — пишет Гросс в „Страхе”, — Поляки должны сами рассказать себе историю преследования евреев в Польше так, чтобы жертвы могли узнать в этом повествовании образ своей судьбы” (...) Написать об убийствах евреев в послевоенной Польше так, чтобы евреи узнали себя в этом рассказе, чтобы они отложили книгу со словами: „Да, все так и было. Слава Богу, что об этом написал поляк и что книга вышла в Польше”, — вот задача для молодого поколения историков, которым „Страх” проторяет дорогу”. (Адам Шосткевич, “Политика”, 2 февр.)

• “Издательство „Знак” сообщило, что в течение недели было продано 25 тыс. экземпляров книги „Страх” Яна Томаша Гросса. Книжные магазины заказали еще 20 тысяч (...) „Это не апогей продажи — она все еще растет. До конца года “Знак” наверняка продаст 120–150 тыс. экземпляров этой книги”, — оценивает один из краковских издателей. По его мнению, переданная всеми СМИ информация о том, что кардинал Дзивиш подверг критике „Страх” и его издателя, только усилит интерес к книге”. (“Жечпосполита”, 19–20 янв.)

• “„Евреи нападают на нас! Мы должны защищаться!” — вещал в субботу профессор Богуслав Вольневич, авторитет радио „Мария”, с амвона краковской базилики иезуитов. Его слова были встречены бурей аплодисментов (...) Лекция „Борьба с Церковью и антиполонизм” должна была пройти в здании Высшей философско-педагогической школы „Игнацианум”, однако из-за большого количества слушателей (...) встреча была

перенесена в самую базилику Святейшего Сердца Иисуса (...)
Главной темой лекции была книга „Страх””. („Газета wyborcza”,
11 февр.)

• Из заявления настоятеля Провинции Южной Польши
Общества Иисуса: “В связи с поступившей ко мне информацией
о собрании, состоявшемся 9 февраля с.г. в краковской базилике
Святейшего Сердца Иисуса (...) выражаю сожаление, что этот
досадный инцидент имел место на территории храма, в
котором служат иезуиты (...) Приносим извинения всем, кто
был каким-либо образом задет тем, что происходило в
иезуитском храме (...) Я глубоко убежден, что этот прискорбный
инцидент (...) напомнит нам о простом благоразумии, чтобы в
будущем мы не позволяли использовать себя в идеологических
целях (...) Рим, 11 февраля 2008 г., о. Кшиштоф Дырек SJ,
провинциал”. („Газета wyborcza”, 12 февр.)

• “Независимо от правильности или неправильности научной
методологии Гросса, от того, есть ли у него основания для
сделанных обобщений или нет, в книге приведены факты,
которых, как правило, никто не ставит под сомнение. В
принципе этого достаточно. Достаточно, чтобы подтвердить не
для всех очевидную истину, что поляки — такой же народ, как
и все другие: среди них есть не только герои, но и бандиты,
мерзавцы, а также подавляющее большинство людей, которые
хотят в меру спокойно, а если удастся, то и честно, прожить
свою жизнь”. (Ян Видацкий, “Пшеглэнд”, 3 февр.)

• “Краковская прокуратура отказалась возбуждать следствие по
делу о книге Яна Томаша Гросса „Страх”. Следователи не нашли
в ней высказываний, клеветующих на польский народ и
призывающих к ненависти на национальной почве (...) В
решении подчеркивается, что рассмотрение взглядов Гросса на
уголовном процессе могло бы привести к нарушению свободы
выражения взглядов”. („Дзенник”, 12 февр.)

• “Согласно последнему опросу ЦИМО, 43% поляков уверены в
том, что во время II Мировой войны многие поляки спасали
евреев и лишь немногие преследовали их. Противоположного
мнения придерживаются только 3% опрошенных. 17%
признают, что многие поляки спасали евреев, но в то же время
многие и преследовали их, а 12% считают, что немногие
спасали и немногие преследовали. По мнению социолога из
Польской Академии наук Барбары Фердышак-Радзеевской, „эти
результаты показывают, что проблема польско-еврейских
отношений все еще не решена (...) ибо мы не рассказали
открыто ни нашу историю, ни историю польских евреев (...)
Результаты опроса свидетельствуют о том, что мы как

политическое сообщество до сих пор не уверены, что в этом запутанном деле правда””. (“Жечпосполита”, 5 февр.)

- “Сестра Гертруда Мартиняк, настоятельница конгрегации сестер св. Елизаветы в Отвоцке награждена медалью института „Яд-Вашем” (...) Медаль „Праведник среди народов мира” вручается тем, кто во время немецкой оккупации помогал евреям (...) В 2004 г. титула праведника среди народов мира удостоилась Александра Шпаковская, а годом позже — комендант отвоцкой полиции Бронислав Мархлевич”. (“Жечпосполита”, 29 янв.)

- “21 летний поляк Мариуш Вдзеконский арестован в Чикаго по обвинению в осквернении 57 могил на еврейском кладбище (...) Вдзеконский, намалевавший на надгробиях свастики и нацистские лозунги, признался в содеянном и подтвердил, что он — член неонацистской организации”. (“Газета wyborcza”, 11 февр.)

- “Вчера в варшавском районе Служев рядом с могилами бойцов национально-освободительного подполья должны были похоронить сталинского судью. В последний момент, после вмешательства политиков Пис, похороны были отменены. Вдова должна найти другое кладбище (...) В 1945–1955 гг. пээнэровская госбезопасность тайно похоронила на лугу возле церкви около двух тысяч человек, главным образом узников [следственного изолятора на] Раковецкой. В 1993 г. перед храмом был установлен памятник Мученикам коммунистического террора (...) Мечислав Видай был сталинским судьей, ответственным за смерть в 1945–1953 гг. 106 солдат национально-освободительного подполья”. (“Газета wyborcza”, 16 янв.)

- “Советский танк времен II Мировой войны, стоящий в Вейхерово, стал причиной конфликта жителей этого поморского городка. В субботу они организовали две манифестации. Сторонники советской машины несли транспарант с надписью „Лапы прочь от танка!”, противники написали на своем транспаранте: „Освобождение — порабощение”. Столкновения не произошло, так как безопасность обеих групп обеспечивала полиция”. (“Жечпосполита”, 11 февр.)

- В старых немецких бункерах Мендзыжецкого укрепленного района, насчитывающего 32 километра подземных коридоров, находится заповедник “Летучая мышка”, где зимуют свыше 37,5 тыс. летучих мышей 12 видов. В прошлом году их было 37 тысяч. (“Газета wyborcza”, 16 янв.)

- “Всемирная декларация прав животных, принятая ЮНЕСКО 1 октября 1978 г., гласит, что каждое животное имеет право ожидать от человека уважения, заботы и охраны. В Польше провозглашенный в декларации принцип (...) был перенесен в закон 1997 г. об охране животных. Закон этот запрещает, в частности, держать собак в несоответствующих условиях, бросать их и издеваться над ними”. (“Жечпосполита”, 19-20 янв.)
- “За последние девять месяцев приют для животных в Кшичках сдал в пункте приема отходов в Седльце 5 тонн падали. 5 тыс. килограммов — это около 500 крупных или 1000 мелких животных. Ежегодно в приют попадает около 700 бездомных кошек и собак (рекорд был установлен в 2005 г. — больше тысячи). Приют предназначен для 160 животных. В настоящее время там находится около 400 животных (...) За прием одного животного владелец приюта, фонд „Эко-фауна”, получает от гмины, с которой у него подписан договор, от 700 до 900 злотых. За утилизацию мертвого животного фонд платит 4-7 злотых”. (Агнешка Сова, “Политика”, 26 янв.)
- “Пятилетний орлан-белохвост борется за жизнь в столичном зоопарке (...) Птица была найдена в среду в окрестностях Плоцка (...) „Похоже, что он чем-то отравился”, — говорит доктор Крушевич (...) Доктор сразу же взялся за лечение орлана: сначала согрел его электроподушкой, затем дал лекарства (...) Сегодня орлану сделают анализ крови, чтобы выяснить причину отравления. „Птица постоянно находится под капельницей и получает специальное питание”, — объясняет доктор Крушевич”. (“Жечпосполита”, 1 февр.)

МЕССА В ЧЕТЫРЕ

1.

Ещё не звонят. С севера
надвигаются тучи, и
слышен глухой рокот. Где-то
за горой уже притаился ветер,
но солнце пока
продолжает сиять,
так оно всё и происходит,
словно может длиться
дольше, чем может, —
есть ещё время, но старые
женщины уже выходят на дорогу
и направляются в костёл.

Месса в четыре,
вторая половина
воскресенья будет
заполнена карандашиком
одиноким молитвы;
есть ещё время —
старые женщины
уже выходят на
дорогу;
ветер ещё не поднялся,

на асфальт отчаянно напирает
солнце, словно в последний раз,
пока ещё есть время,
потому что месса в четыре
и не должно произойти ничего из ряда
вон выходящего, старые женщины
заполняют время пополудни
посещением мессы —
этого воскресного сериала,
который играют вот уже две тысячи
лет и будут играть ровно столько,
сколько нужно (а сколько нужно?)
лет;
времени хватит, можно выйти
и спокойно — топ-топ — доковылять
до дверей костёла, прежде чем начнётся
ветер, дождь, гром, успеть
до,
дойти,
добрести.

2.

Рваные обои, сломанная дверь,
плита, семейные фотографии, кружева,
расшитые салфетки,
краковские обыватели
в окнах, поворот ключа в замке,
чик-чик;

они словно выбираются из-под лавины,
ускользают от катастрофы, спасаются от
наводнения;
на утлых лодках они выплывают
из узких протоков в широкую реку;
ох, сейчас она вдруг выйдет из берегов
и затопит все дороги: по колени, по пояс,
стихия
несёт по течению целые деревья, мусор,
какие-то выполосканные катаклизмом
тайники
из-за дровяных сараев, цветные журналы,
снимки голых женщин, ошмётки чего-то,
что было
скрыто, стало явным, что стало явным, то
потеряно: землетрясение, потоп,
моровая зараза.

3.

О, спаси нас; спаси нас,
спаси нас от,
сохрани нас,
укрой у себя за пазухой, в
нарукавниках, в муфте, спрячь нас
поглубже, пусть глаза наши в ужасе
не блуждают по трещинам на больничной
стене, да не разбудит нас бряканье вёдер
в пору кормленья, не затуманит
страх перед тем, что может случиться, да

не случится ничего, что могло бы
свернуть нашей жизни шею, да
не случится ничего, если можно, ничего,
ничего, ничего; чтоб мы больше не боялись,
чтоб нас не сожрал страх.

4.

И тогда он спросил меня,
видел ли я, как оползает
земля!
И я сказал ему: да,
да, я видел, как треснул
фундамент и всё развалилось,
а женщины бегали с криком,
сперва поползла земля, потом
разошлась крыша и то, что было скрыто
(ах, потёки на кухне и следы
наших забав с женой,
след её ступни на стене, такой вот
наш тайный знак), стало явным. И ты
видел нас там, словно уже нагих,
раскрытых, преданных, но дождь
укутал нас одеялом; и мы были
внутри, уже опять навсегда.
Я говорил ему это, но не всё до конца,
потому что я слышал треск, а потом грохот,
словно
осыпалась земля, и я подумал,

конец, ну и ладно, я видел ту крышу,
это был крах, просто-напросто крах.
Всё словно распалось.

И всё было подготовлено,
как жребий в руке,
ты видел нас, твоих людей,
преданных, лишённых всего,
вдруг обездоленных.

5.

Даже если не будет бури,
жди громыханья, грома!
“Я старалась не опоздать,
приехала дочь из города,
её поезд заглушил раскаты
грома, а её стук в дверь —
первые капли;
мы нарвали цветов, левкоев,
васильков и тех, что растут у колодца,
и красных мальв, и с ними
пошли, Аве Мария,
в костёл, с цветами для
Девы — Стеллы Марис, а потом на могилку.
О Светлая Звезда морская!
О гавань тонущих,
волна перед нами
перекатилась через порог”.

6.

А если больше не будет ничего, то хоть
сверчки и мухи,
ведь что бы ни случилось,
и так немного останется
от речи, клочки, оборванные
фразы, совсем не те,
составленные по правилам,
а случайные, отрывочные,
ах, сохранённые, совсем не так, не
те, что должны были быть спасены,
те остались, как камни,
торчащие над потоком; так что
не жди, что сбудется какая-то
игра, или судьба, или рок,
ничего не случится,
случится всё,
что бы ни случилось,
это будет как дар,
не то, что было желанно,
а то, что распалось,
что разрушено
и проиграно:
до четырёх
ещё далеко,
есть ещё

время.

июль-август 2000

ГОЛОС ИЗ АТЛАНТИДЫ

Кшиштоф Кёлер — один из учредителей издающегося с начала 80-х годов, поначалу подпольно, литературного журнала “брульон” (“черНОВик”), название которого дало имя целой формации тогдашних дебютантов. Он — один из немногих сегодня поэтов, последовательно обращающихся к старопольской поэзии, а конкретно — к её “сарматской” традиции. Автор недавно изданной антологии “Слушай меня, Савромат”, он писал во вступлении: “Сарматская культура, вероятно, кончилась вместе со свободой первой Речи Посполитой. Поэтому сегодня она может иметь для нас какое-то значение лишь как наследие, о котором стоит напомнить и постараться честно его понять. Вот только хватит ли нам терпения смиренно выслушать голос, неутомимо звучащий с пожелтевших страниц рукописей и старопечатных книг? Это для нас своего рода весть из Атлантиды, страны, которая когда-то была прекрасна и могущественна, а теперь стала мифом”. Кёлер явно стремится этот миф оживить и сделать его главной точкой отсчёта современности — чтобы в очередной раз пробудить польский “сон о свободе” — свободе, давно отзвучавшей, но все еще вдохновляющей:

Я только образ. Твой покорный слуга.

Проявись, сила.

Я — удила твои,

предназначение

тебе исполниться.

Эта линия поэтической традиции, вопреки видимости, довольно сильна: достаточно упомянуть (на уровне идей), с одной стороны, таких авторов, как Гайцы или Тшебинский, связанных во время оккупации с подпольным журналом “Штука и наруд” (“Искусство и нация”), а с другой (на формальном уровне) — по-прежнему живое течение лирики, обращенной к традиции барокко, хотя бы произведения Ярослава Марека Рымкевича или, из более молодых, Эугениуша Ткачишина-Дыцкого. Кёлер — подчеркивая в своей публицистике связь с западно-христианской моделью культуры — сочетает идейные и формальные элементы этой

традиции, что, кстати, выражено не только в поэзии, но и в научных работах (он профессор Ягеллонского университета), а также в эссе и фильмах (был соавтором документальных картин “Сарматия, то есть Польша”, “Адам Мицкевич” и “У вас есть свой поэт” — фильма, посвященного мастеру барочной лирики Миколаю Семп-Шажинскому).

Для его творчества особенно характерны два понятия: “сила” и “мощь”. Сила — это способность властвовать, овладевать миром, умение проявить отношение к нему. Мощь — эманация религиозно понимаемого абсолюта, благодаря которой поэзия становится уроком неопровержимых истин. Этот крайний вариант неоклассицизма в последней книге стихов Кёлера “Третья часть” (2003) подвергнут критическому анализу: здесь объектом внимания становится прежде всего язык, его “неопределимость” и непредсказуемость.

ПОЛЕ БИТВЫ ЕЕ ЛУЧШЕГО РАСКАЗА

Она давно стала такой — ну нравилось ей рассказывать. Просыпалась утром, как и другие дети, натягивала, жуя бутерброд с сыром, эластичные колготки в резинку, которые всегда были чуть великоваты и поэтому сползали, завязывала шнурки на полукедах, расчесывала короткие волосы, не глядя в зеркало. Кормила мужа завтраком, глотала свои таблетки, успевала и заплести матери косу, и подать ей чашку чаю. Порядок. Теперь она готова ко всему, к каждому дню, даже к ответу у доски, до которой идти было так далеко, что по дороге волнение унималось и кровь отливала от щек. Так далеко, что она успевала вынести раненого из-под деревьев, на открытое место, где утром его найдут товарищи, — больше ничего не могла она для него сделать, сама истекала кровью. Она выходила из перелеска, из-за парты в среднем ряду, миновала тех, кто сидел впереди, стол учителя, а потом наступало самое плохое: надо было поднять руку с мелом, скрип белого по темно-зеленому, из-за него все видели, могли увидеть, ткань под мышкой, худые локти, несимметричные лопатки, ну и позицию станкового пулемета. Под перекрестным огнем, лоя на себе чужие взгляды, в самом центре городка, пригвожденная к позорному столбу, она не имела возможности хоть как-то прикрыть свое исхудавшее тело. Все равно, поздно, она сумеет спасти только оставленных в катакомбах товарищей. Следовало медлить, тянуть, отвлекать внимание. Отдать жизнь, даже отдать жизнь. За любовь. За Бога. За Отчизну.

Они были на стороне учителя, подобострастно реагировали на его слова, усмешки, первыми бросались в атаку, чтобы удостоиться благополучного, для всех остальных, конца этого раунда. Она выдавливала слова и вместе с ними то, что в учебниках систематизировалось при помощи рамок, графиков и жирного шрифта. О, дорогой капитан Клосс, эта проклятая забывчивость! За спасением она обращалась к неряшливой тетради. Угол загнут, внутренние цветные края обложки приклеены скотчем. Некоторые учителя непременно хотели под них заглянуть, листали страницы с отвращением, словно ожидая найти там волосы, перхоть, козявки из носа, хотели расшифровать иероглифы каракулей на последней странице. Вольнодумные следы заговора, организованного Тайным

Обществом Распространения Жизни. Доказательства его существования, скрываемые всей этой массой, втиснутой между деревянными крышками парт и скамьями. Она даже была готова к их неприязненному вибрированию, к тому, чтобы оказаться вне липкого запаха класса, в зоне действия нетерпеливого постукивания карандашом по классному журналу, шипящего внимания учителя, брызгавшего слюной и чуждостью. Если, конечно, она заранее успела что-нибудь себе рассказать, иногда до звонка будильника, под одеялом, прежде чем увидеть залоснившиеся обои, выдвинутые ящики, услышать скрип дверцы шкафа; прежде чем взглянуть в зеркало по пути в ванную: зеленые облупившиеся стенные панели. В последнюю секунду это мог еще быть путь на казнь, хотя она старалась избегать такого мелодраматического буквализма. Значит, в крайнем случае: казнь или революционный манифест, смелое изложение своих взглядов на настоящую науку, которую тщательно скрывают от простого народа. Стоило ей забыться, прибегнуть к языку одного из строго запрещенных авторов — и приговора не избежать. Научилась этого не делать. Переждать. Всегда лучше ждать. Вернуться на свое место, вклеить тело в шорох и кисловатый запах тридцати других, битком набившихся в классе, и так день за днем, с перерывом на каникулы, во время которых процесс сочинительства активизировался. Дети уезжали на лето с мужем. И ей не приходилось отвлекаться. Научилась рассказывать с редкими антрактами и без труда возвращаться к месту, где остановилась. Окончание школы стало актом освобождения. Она стала мастером своего рассказа.

Там она неизменно была безукоризненно несчастна. И никогда не придумывала обстоятельных продолжений, хэппи-эндов, которыми изобиловали игры подружек (заметив это, она перестала с ними играть), самое большее — старалась продемонстрировать страдания рассказываемого в данный момент персонажа: страдания, оцененные по достоинству, вызывающие интерес и уважение окружающих, иногда вполне конкретных личностей. Часто едва маячивших за дымкой повествования; она давно знала: это называется “повествование”, — ее постоянный внутренний монолог, рассказ для себя, а не для кого-то, — еще в пятом классе она умела определить его как “слушателя”. В учебнике сына эти слова были выделены особо: помещены в центре раздела, и, конечно же, в рамке. Да, в пятом классе она уже наверняка умела. Иногда выбирая кого-нибудь на эту роль. Слишком громкий смех, неосторожное движение, грязные ногти, непонятно как замеченные с такого расстояния, — дисквалифицировали его или ее. Слушатель должен быть

другим, более серьезным, более опрятным. У слушателя было легко поддающееся запоминанию определение, но неподатливое тело. Она бы с удовольствием вложила его (если бы слушатель все же каким-то образом принял определенную форму) в лоток стерилизатора, который служил для игры во врача, что обычно длилось недолго, поскольку сразу же требовалось поле битвы, умирающий солдат, диффузные язвы, рак у соседки (как он должен выглядеть?). Столько всякого, что это невозможно было включить ни в один набор для юного химика, техника, парикмахера, врача или просто для девочек.

Сначала она чаще была сиротой. Пьющий отец тоже годился. Не намного хуже, чем неизвестная мать. Но это одно начало, пролог. Потом, как правило, партизанкой. Продираться сквозь колючую проволоку. Разоблачить эсэсовца. Молодой индианкой, умирающей во время родов. Шаманкой в высокогорном селении. Переодетой в мужчину Марией Кюри в лаборатории, набитой светящимися минералами. Цинга. Голод. Нищета. Проблематично. Сколько всего потребовалось бы не иметь? Где проходила граница, способная удовлетворить настоящую тонкую ценительницу, каковой она стала, и давно? Благородную Защитницу Никем Не Любимого Человечества. Не Любящего Её Пока Что Человечества. Может, там, куда она отправилась с запиской от воспитательницы? В семью мальчика, не принадлежащего к категории слушателей и героев. Хотя: подворотня ничего себе, темная лестничная клетка. Подъезд, от которого бросает в дрожь, надпись “КМВ 1974”, процарапанная на двери без кнопки звонка и с тряпкой вместо коврика. КМВ? Может — не подходит^[1]? Она сжимала в кармане записку, где родителям доброжелательно указывали на их недостаточное участие в жизни ребенка. Донесение из осажденного города. Из зачумленного города. Из исправительной колонии на таинственном острове.

Запах. Она не могла бы такого себе представить. Мыльный, в ее сознании он навсегда связался с грязью. Женщина над тазом с бельем должна обращаться к ней “барышня”. Она и была барышней, носила старательно отутюженную школьную форму с белым воротничком, делала успехи. Карьера знаменитой пианистки была ей обеспечена, если бы она не бросила все ради суровой жизни пастухов. А еще она носила на рукаве повязку Красного креста, действительно разбиралась в своем деле. Дома испекла печенье. Целые килограммы, горы печенья из месячной нормы муки. Все радовались, но лишь она одна знала, что принесет завтрашний день. Не могла им теперь этого сказать. Не хотела. Поэтому у нее было такое грустное лицо. Учителя считали, что она не умеет выражать свои чувства.

Выражение чувств. Сколько же их было вокруг. В рекламе, журналах, дискуссиях, на улице. Дети обнимали ее ручонками за шею; мокрые теплые мордочки. Она пойдет по канализационным каналам в другой район города с донесением. Пусть они не удивляются. Ведь она только кажется слабосильной. Прошлой зимой разбила лед на озере, чтобы добраться до спрятанных там запасов. Спасла город. Об этом не писали в газетах. Не было газет. Ничего вообще не было, лишь их отряд перешел линию фронта и пробрался на другую сторону. Так что женщина может ей доверять.

Но та продолжала стоять, склонившись над тазом. Что это должно означать? Их кто-то подслушивал? Слышал? Или ничего не означало? Совершенно очевидно, что газеты в самом деле ничего не написали. Никто ни о чем не знал. Ей не доверяли, маленькой девочке в перекрученных колготках, а ведь она была готова выкормить последнего ребенка этой женщины и спасти ее мужа, пойти вместо него рыть окопы.

Та же вообще не обратила на нее внимания, с трудом позволив представить, что за дверью, вероятно, находится пьяный муж и отец, у которого всегда под рукой нож. Это была сестра; мать тут же выглянула из-за той двери и, произнеся “А”, взяла уже помявшуюся бумажку. Смутившись и гораздо больше испугавшись этого равнодушного “А”, чем мужчины в грязных кальсонах (который в конце концов так и не появился), она вышла, выбежала, сжимая ткань пустого кармана и даже не попрощавшись. После того посещения она часто чистила картошку в подсобке закусочной, стирала в приюте, драила лестницу, вдыхая запах своего пота, едва ощутимый на границе хлопчатобумажной блузки и голой подмышки. И совершенно другой — под черной комбинацией, которая не снималась и на ночь, когда усталость обрывала картину. Засыпала в ночной рубашке с набивкой в мишки. Сны редко смешивались с дневными сюжетами. Они были скорее чем-то третьим, другим, в чем она не так хорошо разбиралась. Напоминали прикосновение, самое его начало, когда по телу, как легкая волна тепла, пробегает трепет, на котором она предпочла бы остановиться. Закрывала глаза, отдаляясь от рук мужа. Засыпала, спрятавшись в себя.

Потом делала то же над книгами в читальном зале, сидя на своей кровати в общежитии, глядя поверх детских голов. Ей нравилось сильно пускать воду на кухне, наклоняться над мусорным ведром, чтобы не слышать, как они бегают по квартире, как стучат маленькими кулачками по мебели, как зовут ее. Чтобы успеть, до того как что-нибудь случится, успеть

нарисовать картину, до обеда, дорассказать себе, в последнее время в основном о встрече через много лет, когда она будет держать маленькую гостиницу в горах и он появится там случайно, слегка постаревший, седой, загорелый, богатый, он не заметит, какие шершавые у нее руки, подождет вечером, будет уговаривать, уговаривать. Надеть вечернее платье, выпить шампанского и предаться любви, снова отправиться вдвоем в джунгли, не строя, однако, излишних иллюзий. Он и не подумает увезти ее из картофельного края куда-нибудь еще, куда она только пожелает. Она твердо держалась мусорного ведра и несвежей комбинации, в последнее время постепенно превращающейся в застиранную домашнюю футболку. Совала детей в коляску, просила их не высовываться сбоку, так же как просила носки из вечно открывающегося ящика не торчать, не мешать ей жить в мыслях. Поддерживать в мыслях себя и мир вокруг.

Высокий мужчина, откровенно говоря, не заслонил собой других историй. Те не выросли вместе с ней, не выходили замуж, не рожали детей и не сопровождали обычных жизненных перемен. Они не любовные романы на сон грядущий, не болтовня с подружкой, встреченной через много лет. У них был свой ритм и своя воля — даже если там часто присутствовал человек с седеющими висками, владелец серебристого “мерседеса”, они не соглашались уступить ему главную роль, не давали пролезть впереди других, совершенствованных годами. Их не смогли одолеть новейшие изобретения, сериалы, легко отвлекающие внимание, стоит хоть раз поддаться и впустить их в заваленную детскими одежками комнату с телевизором. Щелк-щелк — выключателем. Раз-два — пультом. Только однажды, в самом начале, она закрыла глаза, чтобы никто не видел ее слез, когда та женщина спускалась по широкой лестнице к тому мужчине, а она сама уже знала, чем все закончится — видела накануне утром. И решила больше не плакать над тем, что придумала не сама, ибо все равно, как плакать над своей жизнью.

И она по-прежнему была официанткой в баре, работавшей ночи напролет ради куска хлеба для умственно отсталого брата. Годами шлифовала этот образ, находя все новые объяснения, почему выбрала такое, требующее горького самоотречения, занятие, не отвечающее ее профессиональному уровню. Официантка с дипломом о высшем образовании, но кто там спрашивал диплом после ядерной катастрофы. Горничная в большом отеле. Работница на каком-нибудь быстро бегущем конвейере. Иногда, очень редко, ей случалось бывать и проституткой, не вдаваясь, однако, при этом в ненужные

подробности, — в основном говорила с клиентом о жизни и получала с него деньги. Она всегда работала сдельно или во имя чьего-либо спасения. Ее постель по-прежнему окружали куклы, и она не решилась бы при них рассказывать дальше, а ставить их носом к стенке не хотелось. Чувствовала, что нельзя так делать. Они были с ней и в загородном центре отдыха, где она оказалась единственным человеком, умеющим помочь больным и раненым, вести кухню, — и неожиданно стала главной среди нескольких десятков уцелевших. Не хотелось их разочаровывать, заставляя расстаться с невинностью, даже если она сама через это прошла. В конце концов, она здесь взрослая, уже много лет ей не нужно было носить эластичные колготки, которые образуют на коленках аппетитные баранки. Конечно, она не верила, что куклы живут своей жизнью. Что по ночам они ходят по квартире и съедают припасы из холодильника. Но кто мог гарантировать, что они не чувствуют, не видят, не имеют памяти? У них все для этого было, и побольше, чем у некоторых. Они моргали пластмассовыми ресницами и издавали жалобные звуки, когда она сама зажмуривала глаза, стараясь выстоять. Она шила для их детей раньше, чем у нее появились свои. Надеялась, что прочно вошла в их жизнь.

Когда кто-нибудь заставлял ее врасплох, неожиданно входил в кухню, хватал за руку; когда ее прерывали, она в смятении захлопывала окошко своей фантазии, чувствуя прежде всего нетерпение. Ее раздражала необходимость складывать губы для произнесения фраз, комментировать чужие слова, отвечать. Да, нет, не знаю. Чаще других используемые звуки. Из-за своей постоянной рассеянности она производила впечатление человека, погруженного в себя, сосредоточенного на том, чем в данный момент занята, поглощенного детскими шажками, потом тетрадками, потом завтраками, обедами и ужинами, потом планами детей, их проблемами и симпатиями. А ведь дело было вовсе не в ней и ее близких. Не в том типе связи с миром, какую создает хлопотня. Она бы удивилась; она и удивлялась, заметив вдруг аккуратно уложенное постельное белье, явно ею самой выстиранное, или услышав какое-нибудь одобрительное замечание о том, с какой необыкновенной старательностью она ведет дом; или об их прекрасной семье, в то время как вокруг... Вот-вот, вокруг была пустыня после десятой галактической войны, а в бункере, который находился под ее командованием, всё было на своих местах, даже витамины все годы выдавались со строгой регулярностью. Посреди очередного торжества она разглядывала лица и наряды, замечая перемены.

Итак, придя к выводу, что ее брак и материнство находятся уже на том этапе, когда никому ничто не угрожает, она решила остаться внутри подольше. Там все менялось к худшему. Она открывала двери с буквами КМВ, зная, что на этот раз сначала увидит мужчину. Тот почти всегда был там, не работал, не приносил зарплату с судоремонтной верфи, как раньше, когда он бывал дома только после ночной смены или ночной пьянки. У нее не получалось этого избежать, изменить, обойти. Если мужчина был за второй дверью, взгляд женщины над тазом в облаке пара делался еще равнодушнее. Все казалось смутным, вялым, тусклым. Парным, замедленным, словно не её. Словно чужим, подсмотренным в дырку, с буквами КМВ, которые расшифровывались на разные лады. Но если она проводила там больше времени, если ей удавалось пробыть там довольно долго — возвращались движение и краски. Все начинали говорить, даже перекикивать друг друга, действие разгонялось, вот оно уже вне комнаты, в окопах, в лесу, в полевом госпитале. Ее больше никто не отрывал от всего этого, не надо было идти к доске, к детям, к чьей-то могиле, к какому-то зеркалу, подавать очередное заявление, подписывать что-то в учреждении. Не нужно было выходить из поезда прямо в объятия отца, в объятия мужа, в объятия сына, в объятия любовника.

Она решила остаться. Пересадила кукол на нижнюю полку, ближе к кровати. Закрывает дверцы, задвинула ящики. Написала письмо, не пытаясь ничего объяснить. Открыла кран с водой на кухне. Вышла прямо на поле боя. Она не колебалась, нет. Лишь почувствовала сквозняк, и какая-то ее часть вернулась, чтобы плотнее закрыть окно.

Днем высокий сидящий мужчина увидит на ковре ржавый отпечаток. Вроде как кровь, смешанную с глиной. След с поля битвы из ее лучшего рассказа. И подумает, что еще мгновение назад она здесь была.

Перевод Марины Курганской

1. По традиции 6 января, в день Богоявления (Праздника трех волхвов), верующие мелом, освещенным в костеле, пишут на входной двери “К+М+В”, часто с указанием года. Некоторые считают, что КМВ — это начальные буквы имен волхвов, по другой интерпретации — начальные буквы латинских слов “Христос, благослови этот дом”. Верят, что

эта надпись отгоняет злые силы от дома и приносит благополучие живущей в нем семье. — Пер.

ЧУВСТВЕННОСТЬ РАССКАЗА

Инга Ивасюв (1963) — редактор выходящего в Щецине литературного журнала “Погранича”, преподаватель литературоведения в Щецинском университете — дебютировала книгой рассказов “Город-я-город”. Она — автор двух поэтических сборников и ряда научных работ, в основном посвященных роли феминизма в современной польской культуре. Недавно у Инги Ивасюв вышла новая книга “Вкус и прикосновение”, чрезвычайно тепло встреченная критикой и читателями (что подтверждают читательские мнения на интернет-форумах).

Основная тема этих произведений — судьба женщины в современном обществе, где ее роль по-прежнему определяется традицией, которую когда-то называли “мещанской”, а теперь, на языке феминизма, — “патриархальной”. При этом мы не найдем здесь каких-то исключительно драматических ситуаций, напротив, это мир будничной суеты и повседневности. Драматизм порождает сама искренность повествования и — что является одной из важнейших черт настоящей литературы — преодоление литературных табу, способность, отбросив стыд, говорить о вещах, которые обычно вытесняются в сферу бессознательного. Такой способ повествования все обыденное и рядовое превращает в экзотическое и необыкновенное. Наверное, самое яркое представление о сути авторского замысла дает начало рассказа “Совет”: “Что ж, доктор, я расскажу вам это именно потому, что не хотела никому говорить, и меньше всего врачам”. И далее следует исповедь о пытке женского — а, значит, табуированного — алкоголизма: “Дорогой читатель, дорогая читательница! Я на дне, писаюсь, что еще. Воняю, а неохота. Психические страдания хуже? Уважаемая доктор, вам случалось когда-нибудь написать на мужика, которого вы подцепили в баре?”

Но дело не в непристойности того, о чем вспоминает героиня (эта непристойность лишь условна), а в непосредственности рассказа, который, как, например, в данном случае, хотя и не уходит от своей литературной природы (в конце концов мы все понимаем, что читаем художественное произведение, а не медицинскую карту), прежде всего нацелен на отображение “правды жизни”, голой правды. Обнаженность правды, обычно

являющаяся слабым местом такого типа литературы, под пером Инги Ивасюв обретает силу и убедительность, захватывает нас.

Героини этих книг имеют разное социальное положение, даже разные национальности. Но их объединяет схожесть опыта, отличительная особенность которого — одиночество, отсутствие тепла, тоска по вкусу и прикосновениям, которые были бы не мимолетны, давали бы ощущение защищенности и устойчивости в жизни, некую эмоциональную стабильность. Их также объединяет тоска по близости другого человека, потребность доверять ему, манит мечта вырваться из череды случайностей, неуверенности и страха.

Людвик Фляшен

ГРотовский и молчание

Посвящается Раймонде и Валентину Темкиным

Нелегко и как-то несподручно мне говорить о Гротовском. Это тема для меня личная, сугубо личная. И странно мне, что Гротовский стал темой. Что уже десятилетиями он остается темой книг, ученых публикаций, лекций, дебатов, диссертаций, дипломных работ, публичных встреч вроде нашей, в стенах солидных университетов и на фестивалях.

Мы же, его ближайшие соратники, знаем, что этот ревнитель строгости и серьезности в работе — в быту частенько выкидывал фортеля. И выкинул — таки фортель высшей пробы: вошел в историю, то есть стал темой.

Я не умею говорить о нем объективно.

Не умею вычленить человека из его дела.

Мне здесь угрожает, я знаю, опасность, присущая старым товарищам по оружию: трёп о героическом общем прошлом. Ладно.

И после долгих колебаний я решил говорить о молчании. Гротовский и молчание. Говорить о молчании... Звучит образчиком юмора абсурдистов. Случаем, не цитата из Беккета?

Основная часть моей работы с Гротовским была скрыта от посторонних. Мне пришлось быть, как он это позже называл, адвокатом дьявола, давшим подписку о полной искренности. Только — вдали от любопытных ушей и глаз, даже от трупы.

Мы вели себя, словно два заговорщика. От этой сделки, от этого заговора молчания я получал исключительное наслаждение соучастием в грандиозном проекте по спасению мирового театра.

Сбылась ли наша мессианская мечта — не уверен. Как бы то ни было, Гротовский и наш Театр-Лаборатория — вехи сегодняшнего театра. Фирменный знак высокого актерского мастерства. И, заодно, школа молчания — во множестве его ипостасей.

Древние мудрецы разных эпох и культур полагали, что сущность вещей не сводится к словам. Назойливых учеников, взыскующих словесного ответа на вопрос: “Что есть истина?” — отваживали побасенками и насмешками.

Впрочем, старый китайский поэт Бо Цзюйи сказал о своем полумифическом соотечественнике, авторе “Даодэцзин”:

“Хуже — сказать, чем, зная, промолчать — / Сие почтенный Лаоцзы изрек; / Но почему им создан труд в пять тысяч слов, / Если он был, как говорят, знаток?” (пер. И.И.Семененко).

К самым многословным авторам относятся христианские мистики, написавшие толстенные тома, исходя из убеждения, что их опыт невыразим и никакие слова с ним не совладают.

Рядом с ними пять тысяч иероглифов “Даодэцзин”, над болтливостью которого смеялся поэт, — в самом деле лишь несколько слогов, выдвленных сквозь зубы аскетичным молчальником, мистическим заикой.

Гротовский не был ни Лао Цзы, ни христианским мистиком. Однако, парадоксальным образом, диалектика выразимого и невыразимого, слова и молчания его живо интересовала. В театре. И вне театра. В разных, скажем так, применениях.

У него там были свои понятия.

Он не любил актеров-спорщиков, актеров-умников, которые вместо работы и исканий в работе бесконечно обсуждают на репетициях, о чем в спектакле идет речь и что надо бы сделать.

Не любил переливать из пустого в порожнее, когда люди несут что ни попадя, лишь бы заполнять пустоту. В Европе ведь ради общения с другим человеком обязательно надо разговоры разговаривать.

Он был уверен, что истоки творческой силы художника и, шире, человеческой личности — это различные аспекты существования, хотя на практике и пересекающиеся. Он утверждал, что интеллектуальный компьютер — такой технологический термин он выбрал — бывает удобен и даже необходим, но тогда, когда занимает в иерархии творческих сил надлежащее ему вспомогательное место. В процессе творчества, где человек соприкасается с неведомым, потрескивание компьютерных мозгов стихает. А раз в нашей цивилизации он вездесущ и необходим, то в нашем мышлении нужно вести с ним изворотливую игру. Перехитрить

настырного джинна и держать его в бутылке, выпуская лишь тогда, когда он нам и вправду помогает.

Впрочем, лукавый и навязчивый дух дискурса порою был нужен Гротовскому, иногда неотвратимо. Гротовский, как всем известно, был прекрасным оратором, полемистом, популяризатором своих творческих замыслов, их миссионером, а заодно и комментатором достигнутого. Он мощно и обаятельно теоретизировал на встречах с публикой, перераставших зачастую в ораторские марафоны. И в редком выступлении обходился без выпадов против бесплодного теоретизирования.

Его собственный компьютер работал безупречно, производя ослепительные цепочки слов; обладал он и безусловным талантом присяжного софиста. При этом он говаривал, что один из его любимых риторических приемов таков: если оппоненту не нравятся какие-нибудь слова, то он охотно заменит их другими, за слова держаться не будет.

Гротовский играл на настроениях слушателей, подобно заправскому актеру: легко переводил их от смеха к серьезности. Он держал наготове конспекты, но импровизировал, идя за сиюминутным соблазном. Обращался не к собранию, не к аудитории, не к слушателям — к каждому слушателю отдельно, к личностям. Будто размышляя вслух для кого-то другого, в присутствии другого. Я бы сказал, что между ним и залом — вне слов, помимо слов, несмотря на слова — наступало некое доверительное согласие, основанное на взаимном обмене энергией. Опускалась тишина, отличная от обычной тишины заинтересованного внимания... Гротовский заклинал молчание, как заклинали дождь.

Это сложилось не сразу. Поначалу было в нем что-то от авторитарного педагога. Голосом, восходящим к верхним регистрам, он рассекал проблемы, словно бритвой. В качестве оратора он склонял, принуждал к молчанию; тишина возникала не сама собой, он не вёл к молчанию, но навязывал его. То же самое и в работе — режиссируя и управляя актерами.

Хотя с ранних лет Гротовский практиковал йогу, разбирался в индуизме и употреблял бархатный тенорок духовного вождя, тогда он еще не был осиян ореолом духовного поиска.

Как-то, во время нашего общего отпуска, он давал мне уроки хатха-йоги. Труднейшие упражнения, вплоть до полного лотоса, он выполнял с ловкостью опытного акробата — хотя телесно скорее напоминал Гаргантюа, нежели йога. Ясное дело,

я не был чересчур понятливым учеником; мы были на дружеской ноге, без необходимой дистанции гуру—ученик. Невзирая на усилия с его и моей стороны, желаемой степени умиротворения мы так и не достигали. По окончании часового урока набрасывались на завтрак и утренние газеты.

Гротовский, сколько я его помню, знал цену молчанию. Он требовал молчания. Добивался молчания. Допускаю, что и за внутреннее умиротворение он упорно бился. А тогда, вначале, он слышал в себе пронзительные голоса исполненного нетерпения человека действия. Он был переполнен активной энергией, и сокровенный смысл энергии пассивной (в успешном делании) на практике от него еще ускользал.

Но со временем, хотя относительно быстро, он открывал удивительные вещи. На практике, в работе с актерами. Среди тех поразительных открытий — диапазон, качество, бесконечная сила молчания.

Разумеется, молчание — понятие нечеткое, слово-кокон. Оно может означать акустическую тишину. Может означать прекращение речи. Может означать пробел, недомолвку. Может означать призыв к порядку. Может означать свойства мест и ситуаций с поэтическим богатством определений и прилагательных. Может быть предметом глубинного опыта мыслителя, наподобие знаменитого вечного молчания безграничных пространств у Паскаля. Может быть методом или важнейшим опытом в сфере духовных методов. И так далее.

Разумеется, и в театре имеют хождение категории молчания или родственной ему тишины. В зрительном зале. На просцениуме. Остановка — драматическое напряжение, бессловесное, беззвучное. Паузы с акцентированными долготами: короткая, длинная, “спустя мгновение” — принадлежат к железному репертуару драматургических ремарок.

Великим поэтом и часовых дел мастером этой отрасли (в ремесле ремарок) в наше время был Беккет. А раньше Метерлинк, Стриндберг в Швеции, в России — Чехов, в Польше — символист Выспянский. Автор “Акрополя”, постановка которого Гротовским в 1962 г. принесла невероятные открытия в той области, о которой мы тут распространяемся...

В тайну темпо-ритмов звука и тишины вникали великие режиссеры и постановщики.

Но Гротовский, смею утверждать, во всем братстве театральных и околотеатральных молчунов — случай особый.

* * *

Это начиналось с запрета на шум, шумное поведение и разговоры на личные темы в зале, где проходили упражнения, репетиции и где давали спектакли. Кажется, Станиславский утверждал, что, входя в театр, галоши и зонтик оставляют на вешалке. В Театре-Лаборатории за порогом оставался гвалт повседневной жизни. Тут была охранная зона, заповедник тишины.

Актерская братия принадлежит к шибко болтливым. И даже наши актеры это воспринимали — поначалу — как административное предписание либо пунктик авторитарного начальника.

По прошествии времени стало ясно, что так соблюдается одно из базовых условий гигиены творческого труда в театре, чтящем свое призвание.

В городе и в актерской среде нас иронически прозвали обителем. Помнится, среди многих дефиниций тишины есть и монастырская тишина.

Спектакли Гротовского называли певческими. В принципе, вокальная сторона была одним из их важнейших отличий. Однако она не сводилась к музыкальным эффектам и вокальной акробатике. Это не был ни распев, хотя пели, ни инкантация и псалмодия, хоть текст и трактовался как заклинание или псалом, ни Sprichgezaug, хотя граница между речью и пением была довольно размытой, — это было действие звуком, действие голосом, голосовая реакция, включенная в точную структуру. Равно как действие замиранием, приглушением звука, подавлением, обрывом звука. Молчанием.

Это было не так, как в других театрах. Не вокальные интермедии. Искусство звука, голоса, молчания отличалось от того, что предлагали театры со сценой как фронтальным пространством игры. Гротовский с актерами сознательно выстраивали вокально-звуковую партитуру спектакля в стереофонической перспективе, и вокальное качество связывалось с многомерностью пространства, с вездесущностью резонанса.

Зритель-слушатель-свидетель происходящего находился в сердце этой стереофонии, под куполом из звука.

Пространство игры в целом рассматривалось как многоголосый музыкальный инструмент. Залы обладали собственными акустическими секретами, звонкими и глухими точками, своим эхом и подголосками, засадами и чародейскими закутками. Это изучалось. Звучание потолка, пола, стен, углов, выступов, геометрических неправильностей. Голосовое воздействие направлялось в эти различные точки, прослушивались реплики, и линия вокальных действий приспособлялась к особенностям данного пространства.

Речь идет не об обычной слышимости.

Стереофония эта — один из секретов магии Гротовского, магии Бедного театра. Всё в нем происходило без помощи микрофонов, с демонстративным отключением всех акустических устройств. Я просто напоминаю.

Когда голосовая работа актера совершенна, резонирует всё вокруг. Непонятно, откуда идет голос и чей он. Индивидуальная стереофония актера, пускай и требует высочайшей техники, к одной лишь технике не сводится. Живое человеческое присутствие совершает странствие в звуке. Это деяние актера, превосходящее актерство.

* * *

Собравшись говорить о молчании, я говорю о голосе, о звуке.

Вокальная техника Гротовского — если можно назвать ее вокальной техникой — сделала мировую карьеру. Тысячи юных адептов театра бились над загадкой так называемых резонаторов, о которых говорилось в “Vers un théâtre pauvre” (“К бедному театру”). До Гротовского тон задавала пара: дыхание — голос. Ставили голос, исходя из техники дыхания. Гротовский ввел в повсеместный обиход пару тело — голос. Рябит в глазах от предложений курсов тела — голоса, в одном Париже им несть числа. Заправляющие ими ремесленники не ведают об истоках. Учителя вокала предваряют свои уроки более продвинутыми, чем некогда, физическими упражнениями под фортепьяно. А на оперных сценах певцы исполняют свои партии не в стандартных позах, но в разнообразнейших телесных позициях, что явно не обошлось без — уже анонимного — влияния Гротовского.

Работа над голосом — вокальным деланием — была работой над слушанием. Подобно тому, как голос Гротовский считал продолжением импульсов и реакций всего тела — а призыв к умению работать всем собой стоял на его гербе, — слушание не было слушанием ушами, но всем телом, всем существом. Оно было активным молчанием, молчанием-действием.

Слушали, находясь в разных позах, приемник и передатчик звука одинаково включены, превращены, так сказать, в естественные антенны, наделенные чувствительностью живой ткани. Слушание-молчание-голос — это был монолитный процесс, живой, пульсирующий от партнера к партнеру. Реальный обмен импульсами и реакциями, обмен энергией действия, энергией звука, энергией молчания.

Такое слушание всем телом, молчание-делание, давало возможность молниеносного, как в традиционных искусствах борьбы, отклика — перехода от молчания к звуку, от пения к речи, в поразительных музыкальных интервалах, вне темпированной шкалы, в отбивках, нюансах экспрессии, громкостях, — и обратно: от звука к молчанию, к тишине.

Контакт между партнерами игры, живой, тотальный контакт был одним из основных требований, которые Гротовский предъявлял актерам.

Такая работа изменяла сам дух и образ пространства, в котором она происходила. Особая тишина, а не просто отсутствие шума, как в помещениях, где ничем не занимаются. Тут, входя, слышали тишину — а отголоски города доходили фоном какой-то конкретной музыки.

В октябре 1962 г. в провинциальном городе Ополе, где в скромном зальчике располагался на тот момент наш театр, состоялась премьера “Акрополя” по Выспянскому. Тогда-то в первый раз со всей ясностью и обнаружилось то, что неявно проявлялось прежде. Феномен стал очевиден. Спектакль, собранный из тончайших актерских партитур, партий тела и голоса, спектакль, действие которого было перенесено в гитлеровский концлагерь, а действующие лица словно воскресли из дыма крематория, публика принимала в абсолютном молчании, без единого аплодисмента. И это не было выражением неодобрения. Это было потрясение.

Так началась серия представлений Гротовского, проходивших в тишине и оканчивавшихся молчанием зрительного зала.

Полагаю, что это еще одно открытие: театр без аплодисментов.

Специалисты скажут, был ли это первый и последний случай в театре XX века. Можно поискать отдаленные аналогии в каких-нибудь давних обрядах и мистериях.

Для всех же нас, для актеров, да и для и самого Гротовского — неожиданность, долгожданная неожиданность.

Пока мы с ним посредством театра искали нечто сакральное, он искал еще и святого актера. И вскоре нашел его в Рышарде Тесляке, в его заветном “Стойком принце”.

Конечно, разными были мотивы, удерживавшие зрителя от атавистического позыва громко бить в ладоши по завершении спектакля.

Потрясение? Шок? Изумление? Возбуждение? Беспокойство? Раздумье над собой, над жизнью? Состояние, близкое к медитации? Созерцательное ощущение близости чего-то неведомого, невыразимого, не поддающегося названию? Или просто — волнение?

Зрители медлили выходить, долго хранили тишину, избегая разговоров друг с другом по окончании действия. Действие продолжалось в них. Станиславский назвал бы это внутренним действием. Он имел в виду незаметный снаружи процесс, происходящий в актере. Тут это творилось и в зрителе, превосходя — в согласии с замыслом Гротовского — его роль зрителя.

Сейчас уже поздно писать конкретную, документированную опросами работу на тему психологии зрителя в Театре-Лаборатории с подзаголовком: молчание зрителя Гротовского.

Я не только пользуюсь памятью, но, может, и немного фантазирую. Безусловно, не каждый вечер так складывалось. Хотел сказать, настолько идеально. Такое молчание единомышленников. Однако в памяти остались вечера, которые были как дар.

В конце действия “Стойкого принца” главный герой с распростертыми руками и ногами, как распятый на кресте, лежит на своем подиуме-подстилке, укрытый алой плащаницей. Помню зрителей, бдевших над ним, как над умершим.

После “Apocalypsis cum figures” зрители в долгой задумчивости сидели на полу, опершись о стену. Рисовальщик мог бы сделать немало набросков к циклу “Задумавшиеся”.

Выходя, они брали с собой крошки хлеба и свечные огарки, оставшиеся на полу после ухода актеров. Как реликвии. Об этом чудесно рассказывает работник техобеспечения, верный друг Гротовского, с пониманием продолжавший дежурить, терпеливо ожидая, пока люди не разойдутся.

Однажды на “Апокалипсисе” побывал известный советский театровед. Я выполнял при нем обязанности хозяина дома. На выходе он долго молчал, а затем, ударяя себя в грудь широким жестом православного грешника, повторял страстным шепотом: “Вот, я гад проклятый, гад проклятый”. Это выглядело сценой из Достоевского, особливим продолжением действия спектакля. Думаю, он подводил итог своей жизни, бытия советского деятеля науки, полного унижений, вынужденной лжи, отхода от правды, поступков, недостойных его собственного призвания человека и ученого.

Спектакли Театра-Лаборатории со времен “Акрополя” были обращены не к публике, не к толпе, но к отдельным человеческим существам, к каждому из присутствующих по отдельности. Каждый — так работало пространство спектакля — был предоставлен себе самому, каждый в своем — бок о бок с соседом — одиночестве. Способствовало ли это молчаливому размышлению о собственной жизни, о других жизнях, о духе времени, о... — о чем там еще? — о статусе человека? А может, ни о чем?

Такое молчание могло оказаться беспредметным увлечением. Могло — и становилось, прежде всего начиная со “Стойкого принца”, очищающим просветлением.

Финалы спектаклей Гротовский конструировал так, чтобы привести зрителя-свидетеля к молчанию. Он с упорным тщанием шлифовал эти финалы, логику их монтажа, заботясь об их ритмическом пульсировании. Однако двигателем, источником, исполнителем в высшей степени оставался актер, его живое, органичное делание, приливы и отливы энергии, вплоть до угасания, до естественного умиротворения.

Драматические события возникали из молчания — и, пройдя плотной, интенсивной, сосредоточенной поступью, возвращались в него. Как будто молчание — мать вещей.

Эта банальность подтверждалась у Гротовского практикой.

Актер бросал на чашу весов свою собственную интимную истину. В жизни эта истина была сокрыта молчанием. Преображенную творческим актом, пропущенную через

фильтр формы, ее выставляли на всеобщее обозрение. Жертвой? Вызовом? Предел, до которого мог дойти актер, Гротовский называл — помню — актом цельности. Фактически — так нам тогда казалось — прекращением игры.

Когда в конце того или иного вечера раздавались аплодисменты, это значило, что игра осталась игрой, в ней не было истины.

Все актеры помнят восклицания Гротовского: “Верю! Не верю!” На репетициях он часто сводил к ним свои замечания и комментарии. И это звучало как труднейшее требование к совести.

Что есть истина? Гротовский и актеры давали свой ответ на этот знаменитый вопрос. Истина есть то, чему не рукоплещут. Истина — то, что принимают в молчании.

Анатомия молчания в творчестве Гротовского очень сложна, тут надо бы выкатить тяжелую артиллерию серьезных наук, что, кстати, с успехом делалось, да и мы сами не без шума это делали. Религиоведения, ибо речь шла о сакральном театре; антропологии с этнологией, ибо обряды, мифы, ритуалы, мистерии и т.п. И — ушки на макушке — истории духовности, творения которой выходят сегодня в сериях для широких масс.

Хочу напомнить, что после 1970 г. Гротовский — и весь наш Театр-Лаборатория — порвал с театром лицедейства. Гротовский резко, в тоне проповеди отрекся от театра, и этот разрыв наделал много шума и в Польше, и во всем мире. Гротовский и мы, его апостолы, провозгласили миссию спасения человека уже не путем театра, но через Встречу, Праздник, Holiday.

Особенно через такие встречи, где человек — по словам Гротовского — разоружается перед человеком, сбрасывает защитные маски — “и есть, каков он весь”. Это возможно в изоляции и всего на какое-то время. Гротовский с небольшой группой сотрудников на удаленной от города ферме, в лесу, готовил такие встречи для приглашенных, столь же узких групп пришельцев. Они жили в примитивных сельских условиях вместе с Гротовским — периодами, — и, когда возвращались в город, было видно, что хранят в себе некую тайну.

Гротовский еще раньше сильно изменился. До неузнаваемости. Растряс на дорогах Индии плоть Гаргантюа и мог сойти за йога. Одевался индусом. Излучал свет и согласие.

Он оттаял. Позабыл авторитарную раздачу приказов. Не отвергал людей с презрением, высокомерно. Утратил look режиссера и наставника. Как бы увел в тень себя, свое присутствие — ненавязчиво.

В голосе у него появился подлинный бархат. Он достиг ауры человека, обретшего подлинную власть — то есть благодать внутренней тишины.

Тем самым я возвращаюсь к путеводной нити моего повествования, к молчанию.

Гротовский, сколько я помню, в шутку звал наш Театр-Лабораторию ашрамом, то есть пустыню: Это правда: мы, парадоксально, и раньше были театром-пустыней — возле главной городской площади. Теперь Гротовский располагал чем-то вроде настоящей пúстыни — среди деревьев, у пруда, под открытым небом.

Там был инкубатор разнообразных исследований — десять с лишним лет. Со временем этот опыт переносился и в город, на дороги, в странствия, а рождался здесь, в лесной тишине. В пúстыни.

Случались и открытые мероприятия, очень людные. Искатели духовных приключений со всего света предпринимали настоящие паломничества к нам.

Не то мода, не то потребность была в то время у молодого поколения: бродить с рюкзаком, с дорожной сумой, абы как, в примитивных условиях. Сегодня покрасоваться с рюкзаком *très chic* — это симуляция бродяжничества. А тогда это был реальный мятеж против заболеваний нашей цивилизации. Ее ненасильственное отрицание. Жажда смысла.

Искали ответа и надежды у Гротовского, у нас. В частности.

Тишина и молчание, можно сказать, вышли из подполья. Стали нравами, образом жизни, зерном опыта.

Гротовский напрямую говорил о йоге, о духовных техниках, о медитации, тантре и т.п. Но, как всегда, он отмежевывался от пассивного созерцания. У него это шло через движение, танец, произведение звуков, через задачи активного порядка, которые были как бы ступенями к познанию того, что Неназываемо.

Его восхищали гаитянские вуду и группы бродячих музыкантов в Индии — баулов, ведущих двойную жизнь: художника и

духовного искателя, то забираясь в свои пúстыни, то появляясь на людных площадях городов и деревень.

Гротовский в те годы так говорил о молчании, о тишине: “Внешняя тишина, если ее оберегаешь, приблизит тебя к внутренней, по крайней мере в некоторой степени и со временем. Дело не в том, чтобы идти путем жреца, а в том, чтобы и на бегу снискать тишину движения. (...) Следовательно, всему основой остается молчание: молчание слов, молчание отголосков, молчание движений. Это молчание дает шанс серьезным словам и песне, не заглушающей птичью речь. Тело погружается в движение, которое есть наблюдение (смотрение), слышание, соблюдение. Это такое движение, которое есть отдых”. Тут Гротовский использует в качестве дорожного знака старую гностическую формулу. Загадка!

В том же тексте, касающемся замысла Театра Истоков, над которым он работал в конце 70 х, Гротовский рассказывал об опыте пробуждения, бодрствования. Шла речь о дословном пробуждении — о выходе из сна после интенсивного усилия.

“И вот ты выплыл. Когда ты оттуда возвращался, то, быть может, видел цветные сны. Но прямо перед этим ты ощутил покой и ясность, ощутил нечто, наплывавшее от центра, от истока. Открываешь глаза и видишь какую-то кирпичную стену или пластиковый пакет. Но эти кирпичи и этот пакет полны жизни, света. Где-то поблизости ты слышишь голоса. Какие-то люди спорят. Но эти голоса доходят до тебя уже как нечто гармоническое. Ты ощущаешь, что работают все твои чувства. Одновременно ощущаешь, как будто все это вытекает из тебя, изнутри (...). Течет изнутри и из предметов. Такое пробуждение и есть пробуждение в полном смысле слова”.

Здесь Гротовский, исходя из конкретности, по-своему вписывается в предания, говорящие о пробуждении. Это состояние — то ли субъективное, то ли еще какое-то? — в коем изменяется восприятие сущего: мир — вместе с его хаосом и диссонансом — предстает как живая и гармоническая сущность в своих противоположностях. И всё это в своей глубине — тишина и покой. И сознание, соприсутствие, очевидность, как любил повторять Гротовский.

Попадаешь в другое измерение, вне ощущения вины и наказания. Принимаешь то, что существует, *avec la serenité* (в безмятежности духа?). *Serenité*.

Свою метафизическую жажду, свою любознательность искателя абсолюта, мужа познания — на протяжении многих

лет, еще в Польше, — Гротовский утолял уже вне театра. Думаю, впрочем, что оригинальность его, суть его личности живет на скрещенье обоих призваний. И он это сознавал. Здесь не только вопрос его социальной маски — кто он, духовный учитель или театральный художник, — тут вопрос органичности его предназначения, колесо его кармы. Оба призвания были сплетены между собой бесповоротно, страстно, безысходно.

Не стану рассуждать о знаменитой концепции искусства-проводника, хоть располагаю достаточной уверенностью, что и в ней сыскался бы повод к теме: Гротовский и молчание. Я говорю о том, чему был близок, что знаю изнутри, как участник и очевидец, участвующий очевидец.

ПОЛЬСКИЙ МАСТЕР ПАРАДОКСА НА РУССКИХ СЦЕНАХ

Театральная карьера Славомира Мрожека на русских сценах впечатляет: более сотни премьер от Москвы до самых до окраин плюс несколько легендарных постановок – “долгожителей”. Маститого корифея театра абсурда в России ценят не меньше Беккета. Интеллектуальный автор покорило воображение читающей публики еще в шестидесятые годы прошлого века, вмешательство цензуры только подогрело интерес к “запретному плоду” мрожековских парадоксов. В конце восьмидесятых Мрожек стал едва ли не самым модным драматургом, в 1990-е годы появились некоторые сомнения относительно популярности его творчества, а в XXI веке Мрожек стал признанным классиком. И если речь идет о месте польского автора в российском театре, то почивать на лаврах он может спокойно: интерес и театров, и читателей к его творчеству вполне стабилен.

“Театр абсурда” оказался ключом, открывшим польскому драматургу дверь, в которую не дано было войти ни одному его соотечественнику. В истории театральных контактов России и Польши таких прецедентов не было. Современная польская драматургия на русских сценах представлена весьма скромно, поэтому почти обязательное присутствие Мрожека в репертуаре советских театров в конце 1980-х было настоящим феноменом. Его пьесы ставились в столицах и провинции по всему Советскому Союзу, от Вильнюса и Минска до Еревана и Комсомольска-на-Амуре. “Количественный” успех не сразу перешел в “качественный”, но переходу такому содействовал. Краткая, сжатая форма одноактных пьес польского драматурга заинтересовала молодой русский авангард, который в начале 90-х, решив отказаться от системы Станиславского, бросился на поиски нового сценического языка. Поискав и найдя, к системе, впрочем, вернулся, но не с пустыми руками. В числе репертуарных находок оказались “Эмигранты”, “Стриптиз”, “В открытом море” и “Вдовы” Мрожека.

Нет пророка в своем отечестве — гласит библейская мудрость. В Польше был. Особенно, когда его не было, т.е. пока Мрожек был

эмигрантом. Тогда ему даже персональный фестиваль устроили (Краков, 1990). А вот вернулся в Польшу, и страсти поутихли. Последние пьесы мастера ни у публики, ни у критиков особого восторга не вызвали. Свобода опять же — отпала необходимость в эзоповом языке, и мрожековские спектакли, когда-то привлекавшие зрителей одной фамилией, посыпались с афиш как перезрелые яблоки. Теперь Мрожека в Польше ставят редко. На русских сценах — тоже уже не так часто, как в конце 80 х. Однако это две совершенно разные “редкости”. Чтобы понять разницу, вслушаемся в пафос, которого не боятся российские критики: “Мрожек был для нас запретной, и поэтому особенно сладкой легендой, апофеозом театра абсурда...”^[1]; “На драматургии Мрожека выросло поколение сегодняшних сорокалетних. (...) Тексты Мрожека для них святы”^[2]. По-польски, хотя здесь Мрожеком вскормлено несколько поколений, про его тексты так сказать нельзя. Важные, актуальные, даже гениальные — да. Но чтобы “святы”? Перефразируя заглавие театральной рецензии на один из спектаклей Мрожека “Абсурд в России больше, чем абсурд!”, можно сказать, что и “Мрожек в России больше, чем Мрожек”. И смысл этой парафразы заключается не в развитии тезиса “Россия — родина слонов”, а в попытке прикоснуться к внутреннему содержанию, которым наполняется фамилия польского классика, записанная кириллицей. Та же мысль беспокоила театральную критику: “Наконец-то играем Мрожека! Но Мрожека ли?”. Специфика коннотаций, которые приобретает написанная по-русски фамилия польского мастера, определяется, во-первых, иной, чем в Польше, хронологией восприятия, во-вторых, иными репертуарными предпочтениями, в-третьих — некой суммой авангардного театрального опыта, который русский театр приобрел, упражняясь именно на Мрожеке, и, наконец, в-четвертых, своеобразием прочтения мрожековских парадоксов: отбросив политическую сатиру, русский театр заполнил освободившееся пространство психологической правдой.

Итак, во-первых, тридцатилетнее опоздание...

...диктует иной ритм и иную последовательность, в которой произведения Мрожека попадают на русскую сцену. В хронологии мрожековского “нашествия” на Россию можно выделить несколько периодов, отличающихся как количественными, так и качественными характеристиками.

Первый период, этап знакомства, пришелся на годы хрущевской оттепели и был связан с попыткой русского театра войти в естественный диалог с западной литературой. По мере

появления очередных пьес молодого, но уже знаменитого у себя на родине писателя их переводят, печатают и ставят в театрах. Период этот был краток, но знакомство состоялось, и имя Мрожека зафиксировалось в памяти представителей русской интеллигенции. Именно поколению шестидесятников, сохранившему в памяти то, что в 1968 г. изъяли из библиотек и сняли с репертуара, обязан Мрожек взрывом популярности, наступившим в конце 1980-х.

Первое упоминание о мрожековском спектакле относится к 1966 году. В Театральной школе им. Щукина состоялась премьера спектакля “На плоту” по пьесе “В открытом море”. Годом позже Андрей Гончаров на небольшой сцене Московского театра миниатюр показал спектакль “Без цилиндра”, компиляцию пьес западных драматургов, в том числе “Мученичества Петра Охея”. Постановка была удостоена признания критики, которая настойчиво подчеркивала “умную”^[3] интерпретацию и соответствующую духу времени идеологическую подоплеку. Усилия рецензентов, направленные на правильное прочтение не очень правильных пьес, трогательны: “Спектакль „Без цилиндра” (...) впервые приближает он нам творчество известных западных драматургов, благодаря чему мы имеем возможность узнать их не только как беспощадных критиков буржуазной моральности (что очень важно!), обличителей мнимого достатка мира сытых, но и как выдающихся мастеров пера, овладевших трудным искусством иронии и трагического гротеска”^[4]. Силуэт небоскреба на сцене сразу же переносил место действия на “загнивающий Запад”, что автоматически направляло острие сатиры против “бездушной капиталистической системы”. Таким образом, на материале антитоталитарной пьесы “Мученичество Петра Охея” была показана история “бедного, затравленного буржуазным обществом Петра Охея”^[5], которая “происходит в одной западной стране” и в которой высмеиваются “абсурды моральных, а вернее аморальных, буржуазных норм”^[6].

В том же 1967 г. в антологии “Современные польские пьесы” напечатали “В открытом море”, и, конечно же, читателю предлагалось интерпретировать алогичность ситуации как пародию (!) на модный “театр абсурда”.

Второй — самый длительный — период творческого присутствия Мрожека в русской культуре маркируется полным его отсутствием в официальной культуре. В 1968 г. Мрожек попадает в черный список, и его перестают печатать в Советском Союзе^[7]. Профессор Театральной академии Санкт-

Петербурга П.В.Романов на состоявшейся в 2002 г. встрече с Мрожеком утверждал, что большинство его пьес ставилось сначала под именем автора, а когда он впал в немилость, его творения были представлены под псевдонимом некоего библейского NN. Но когда один из выпускников решил защищать диплом по пьесам Мрожека, это закончилось вызовом “в соответствующие органы”^[8]. Поэтому очередная официальная мрожековская премьера состоялась только в 1980 году. Фамилия неугодного автора была завуалирована собирательным названием спектакля “Вечер польской одноактной пьесы”^[9]. Постановка Людмилы Рошкован, организатора и художественного руководителя Театра-студии, пожалуй, самого мрожековского театра России, а в начале 1980 х самого знаменитого андеграундного театра Москвы, в 1982 г. была запрещена. Тем не менее к драматургии Мрожека театр, особенно молодой, регулярно обращался, хотя было совершенно очевидно, что официально фамилию Мрожека можно было упомянуть с эпитетом “антисоветчик”, а еще лучше не упоминать вообще. “Эмигранты”^[10] в постановке Михаила Мокеева вошли в историю русского театра как один из немногочисленных подпольных спектаклей: “Афиш не было, рецензий не было, известия о спектакле передавались из уст в уста надежнее любой рекламы. Собирались небольшой группкой у станции метро „Бауманская”, шли дворами к какому-то подвалу, произносили (прямо по Булгакову) заветное слово „назначено” и смотрели пьесу Мрожека”^[11]. Спектакль пользовался заслуженной, но опасной (для создателей) славой, режиссера таскали в КГБ и вели беседы о тлетворном влиянии Запада. Среди спектаклей конца 1980 х было по крайней мере два знаковых: “Служанки” Виктюка и “Эмигранты” Мокеева. Первый предвосхищал “сексуальную революцию” в русском театре, официальная премьера второго стала своеобразным знаком времени, знаком отмены цензуры.

Третий этап — период настоящей моды на Мрожека — стал возможен благодаря двум предыдущим. Польского автора — по крайней мере, в театральной среде — уже знали, помнили его ранние пьесы и рассказы, следили, насколько это было возможно, за развитием его творчества и мечтали, что когда-нибудь... может быть... удастся что-нибудь поставить. Перестройка, гласность и прочие факторы такую возможность предоставили. Пик популярности Мрожека в России пришелся на сезон 1988/89, когда было поставлено столько Мрожеков, сколько не было ни до, ни после. В этот период, может, и не так много было сделано в плане новаторских театральных решений или углубленной интерпретации, но с точки зрения

популяризации текстов Мрожека это было время феноменальное. Театры заказывали новые переводы, старые, десятилетиями пылившиеся в отделах рукописей, получили шанс быть напечатанными: с начала 1990-х его проза и драматургия выходят в многочисленных переводах — в журналах и отдельными изданиями.

Театральную легенду Мрожека в России поддерживает спектакль “Стриптиз”^[12], который уже 18 лет не сходит с афиши московского Театра-студии “Человек”. Для режиссера этого спектакля Людмилы Рошкован это была не первая встреча с Мрожеком, однако спектакль рождался в муках. Режиссер искала актеров, которые были бы в состоянии отстраниться от школы Станиславского, от реализма и пожертвовать своим умением психологической трактовки характера. Через репетиционный зал прошло десять (!) актерских дуэтов — вещь в театре редкая, особенно если учесть, что ведь не национальную эпопею собирались ставить. Весь спектакль был основан на актерских этюдах, а главным средством экспрессии стала пантомима. Эта постановка по-прежнему занимает почетное место в репертуаре театра.

Второе место среди спектаклей-долгожителей выпало на долю петербургского “Танго”^[13]. Этот легендарный спектакль, премьера которого состоялась 9 декабря 1988 г., играли на протяжении 17 лет, вплоть до июня 2005 года. В 2002 г. русское “Танго” посмотрел сам Мрожек, который, как написано на сайте театра, “был очень доволен интерпретацией своей знаменитой пьесы”^[14]. О том, какое место спектакль занимал в театральной жизни Санкт-Петербурга, могут свидетельствовать слова Станислава Авзана (19.12.96): “Очень трудно говорить о том, что тебе безумно дорого. Этот спектакль — моя первая и, вероятно, пожизненная театральная любовь. Ходил на него уже, наверное, раз восемь. Провел через него человек пятнадцать, из которых по крайней мере пять пошли на спектакль вновь уже без меня. Я думаю, это о чем-то говорит”^[15].

Сезон 1988/89 помимо количества премьер характеризовали своеобразные “репертуарные гонки” под лозунгом “Кто первым поставит какую-нибудь неизвестную пьесу Мрожека?": почти одновременно в двух московских театрах был поставлен “Контракт”. Первый, в Театре Сатиры, прошел почти незамеченным, второй — под названием “Контракт на убийство”, в Центральном академическом театре советской армии вызвал более широкий критический резонанс, однако зритель своим вниманием его тоже не баловал: “...после

спектакля публика долго и охотно аплодирует исполнителям. Уставшие актеры вежливо кланяются полупустому залу»^[16]. После таких поражений следующей премьеры пришлось ждать пять лет, только в 1994 г. «Контракт» был поставлен на питерской сцене «Приюта Комедианта».

Московские приключения «Горбуна»^[17] — это история выигранной борьбы за зрителя и одновременно редкий в русском театре пример политической актуализации текста. Спектакль, жанровую принадлежность которого создатели определили как «нечто вроде комедии», был поставлен в 1992 г., когда начали исполняться пессимистические прогнозы, предрекавшие кризис русского театра. Многие московские театры пустовали, но у касс театра им. Маяковского собирались толпы караулящих магический лишний билетик. В финале спектакля Горбун закрывал Студента и Барона в своем доме, который еще недавно был цветущим пансионом, забивал двери и окна досками. Изнутри с воем начинала рваться наружу разная нечисть: вурдалаки, оборотни, вампиры, описанные одним из рецензентов как «псевдодемократические силы»^[18]. Зло было наказано, добродетель награждена, а нечистая сила нейтрализована. В 1992 г., после социальных и политических потрясений предыдущих лет (августовский путч и распад Советского Союза), такой happy end был нужен как театру, так и зрителю.

Характерной особенностью четвертого периода стала синхронность процесса российской и общемировой рецепции Мрожека. Начиная с «Портрета» пьесы Мрожека появлялись на русских сценах в течение года после польских премьер, а «Вдовы», поставленные в январе 1994 г. в Москве под названием «Банан», оказались первой заграничной премьерой пьесы. Мода на абсурд ушла, но интерес к творчеству Мрожека остался и «стабилизировался» на уровне нескольких премьер в сезоне, причем география постановок по-прежнему расширялась. Например, его дебютная «Полиция» снова вернулась на русские сцены. Московская постановка 2007 г.^[19] — десятая по счету, но все предыдущие «Полиции» были бабочками-однодневками сезона 1988/89. Понадобилось почти 20 лет, чтобы дозреть до Мрожека, которого теперь ставят редко, но метко, почти каждый новый спектакль становится событием театральной жизни, а постановки отличает экспериментальный подход. Пьесы Мрожека по-прежнему остаются привлекательными для русской сцены, и, возможно, эта стабильность более показательна, чем театральный бум конца 1980 х, потому что если сегодня режиссер берется за

постановку Мрожека, то это уже не дань моде, а внутренняя потребность.

Во-вторых, предпочтения

В Польше в школьную программу попало “Танго”, а то, что попало в школьную программу, как известно, не вырубишь топором. В России все же чаще ставили “Эмигрантов”, а меньше всего нравились пьесы, имеющие непосредственное отношение к русским реалиям — “Портрет” и “Любовь в Крыму”.

Очень тепло были приняты “Вдовы”, на которые польский театр отреагировал почти аллергически: “Ой, а это чё?”^[20]. Можно сказать, что пьеса сделала необыкновенную карьеру на русских сценах, выигрывая со счетом 4:8 (8 русских постановок на 4 польских), но гораздо интереснее то, что эта пьеса в русском прочтении изначально подверглась некоторым интерпретационным метаморфозам.

Спектакль “Банан”^[21] пользовался в Москве необыкновенным успехом. Толпы штурмовали кассы, а критики соревновались в комплиментах: самая изящная работа сезона; абсурд в России больше чем абсурд; чистое, эстетическое представление, в котором есть всё, что нужно нашему зрителю, изголодавшемуся по яркой зрелищности. Тем, кто помнит более чем сдержанные рецензии двух польских премьер “Вдов”, нелегко было догадаться, о какой пьесе Мрожека идет речь. Название спектакля изменили по этико-политическим причинам. Закончилась война в Афганистане, но шла новая — в Чечне, вдов хватало. Трагические ассоциации никоим образом не подходили к изысканному, веселому спектаклю об абстрактности смерти и смехотворности сопутствующих ей обстоятельств. Русские создатели банановых “Вдов” искали у Мрожека прежде всего игры, геометрической головоломки, симметрической забавы. Козак воспринял мрожековских “Вдов” как радостную психотерапию и создал многоплановый, сюрреалистический спектакль о смертельной легкости небытия. “Банан” был оценен критикой как “тихое торжество хорошего вкуса и профессионализма”^[22]. Создатели, не углубляясь в мрачные пучины темы, сделали веселый и красивый спектакль, эмблемой которого стал украшавший театральную программку полуочищенный банан, “больше всего похожий на пенис в шутовском колпаке”^[23]. Эстетика формы доминировала над содержанием, а прекрасная Смерть в черном белье была полна такой жизненной силы, что

предаваться грустным размышлениям на тему бренности всего сущего не представлялось возможным.

После постановки Козака на московскую сцену “Вдовы” вернулись спустя десять лет: в 2005 г. театральная компания САРД наконец поставила эту пьесу, сохранив оригинальное название. Спектакль в плане сценографии и актерской игры был выдержан в духе реализма, а в плане интерпретации смыслов — в духе феминизма: “...о мужском эгоизме, болезненных амбициях и о женской прозорливости и заботливости. О мужской глупости и упрямстве, которые иногда приводят к трагедии. В результате чего на нашей грешной земле остаются вдовы, вдовы, вдовы...”^[24]

Не нашедшие отзвука в польском театре “Вдовы” русский театр “переварил” как “Банан”, запил “Шампанским с валерьянкой”^[25] и, скорее всего, еще не раз к ним вернется. А вот две самые русские пьесы Мрожека достойного резонанса в русской душе не вызвали.

На международном фестивале Мрожека в Кракове в 1990 г. “Портрет” был самой популярной пьесой, которую чаще всего на тот момент ставили в театрах всего мира. В России эта пьеса ко двору как-то не пришлась. Единственная русская постановка, правда, понравилась польскому зрителю и, несмотря на режиссерское далеко идущее “творческое переосмысление”, даже вызвала одобрение автора. В России, однако, спектакль успехом не пользовался — он быстро исчез с афиш, и о нем практически не писали театральные критики. Казалось бы, анализ периода сталинизма и попытка переосмысления исторического прошлого должны задевать за живое и театр, и зрителей, но, как видно, спектакль пришелся не ко времени. Русская публика к концу 1980-х уже смертельно устала от заполонивших сцены карикатур вождей. Перевод новой пьесы Мрожека появился в журнале “Театр” всего год спустя после публикации в “Диалоге”. В октябре того же года состоялась премьера во МХАТе^[26]. Впервые русский театр шел в ногу с общемировым сообществом. “На русскую сцену прорвалась современная польская пьеса!” — радовалась критика. Режиссер к тексту Мрожека отнесся без особого уважения, как, впрочем, и переводчик. Для русского зрителя все романтические реминисценции “Портрета” были непрозрачны, поэтому потерялись мицкевические мотивы: обращение к Портрету в духе Великой Импровизации и битва за Анатоля, который из Конрада хочет превратиться в Густава (обе сцены у польского зрителя однозначно вызывают ассоциации с “Дядями” Мицкевича). Эти два обстоятельства: недоступная

русскому зрителю интертекстуальность и конец конъюнктуры на антисталинские темы — заставили режиссера искать более привлекательные для публики темы. Место романтических реминисценций и политики занял в спектакле комизм. Женщина-психиатр оказывается трансвеститом в парике и на высоких каблуках, который в финале, сбросив платье, надевает военный мундир. Прощальные слова трансвестита-психиатра во френче, произнесенные с характерной “голубой” интонацией: “Будем в контакте, не так ли?” — вызывали ярость Бартодзеля, взрыв смеха в зале и меняли смысл всей сцены. Режиссер внес изменения в текст Мрожека и дописал финал. Забота о парализованном Анатоле показалась Бартодзю настолько обременительна, что он решил от него избавиться, старательно обернув голову своего неподвижного друга целлофаном. Русский режиссер в отличие от Мрожека позволил герою совершить настоящее преступление и заслужить тем самым настоящие угрызения совести. Чудовищный финал точно прокомментировал один из критиков, сравнивая действия режиссера по отношению к пьесе с поведением неразумного ребенка, который, чтобы понять, как работает механизм, приводящий игрушку в действие, ломает ее^[27].

Так же, как “Портрет” со Сталиным, — не понравилась русским зрителям “Любовь в Крыму” с Лениным. От русского театра “ожидали окончательной интерпретации пьесы на ее естественной территории”^[28], тем более что в Польше “Любовь в Крыму” была принята критикой весьма прохладно. Стало очевидно, что польский, гротескный вариант прочтения пьесы — особенно после статьи Анджея Дравича “Как лучше всего не понять Россию” — в России просто невозможен. Весной 1995 г. в Москве состоялась премьера “Любви в Крыму” на самой чеховской сцене России — сцене МХАТ. Роман Козак начал спектакль пронзительным криком чайки, отсылая к образу той, что вот уже больше века украшает занавес МХАТ. Пропитанный чеховскими мотивами первый акт пьесы зазвучал так мощно, что заглушил два остальных. В великолепном переводе Леонарда Бухова исчез, однако, целый пласт комических элементов, связанных с польско-русским волапюком, который Мрожек придумал, чтобы русские герои на польской сцене выглядели более русскими, более естественными и более смешными. На русской сцене они выглядели весьма органично, но совсем не забавно. Очищенная от русизмов и вульгаризмов “Любовь в Крыму” неожиданно зазвучала чисто по-чеховски. Ехидный приговор критики гласил: “Поставив Мрожека, во МХАТе отлично сыграли Чехова”^[29]. Но зачем тогда смотреть Мрожека, если можно пойти на Чехова? — решила московская

публика и ходить перестала. “Любовь в Крыму” сняли с репертуара после девятого спектакля и пока к ней не возвращались.

В-третьих, сумма авангардного опыта

Главной чертой восприятия Мрожека в России был все же взгляд на его творчество сквозь очки “театра абсурда”. Мрожек появился на русской сцене в самый подходящий момент. Освободившийся из когтей цензуры театр, осознав собственную отсталость в области театральной техники, устав от публицистических разборок по поводу исторического прошлого, — устремился на поиски нового драматургического материала, который позволил бы не только освежить актерское мастерство, но и соответствовал бы духу времени. Мрожек, прописанный в коллективном сознании по этому адресу, триумфально входит на русские сцены. Свежесть драматургического материала открывала перед театром новые “технические” возможности, особенно если учесть, что именно в эти кризисные для театра годы эстетика психологического реализма стала казаться устаревшей. Пьесы Мрожека стимулировали интерес к экспериментам, обогащали театральный язык, заставляли режиссеров выходить за рамки известных им приемов, а актеров — искать соответствующую для размытых диалогов и схематических персонажей манеру исполнения, словом, для многих явились настоящей школой концептуальной режиссуры и формального театра, увлекательным приключением и своеобразным мастер-классом.

Стремясь соответствовать “западным образцам”, догнать и перегнать (“абсурд в России больше, чем абсурд”), театр иногда попадал в ловушку терминологии. Например, “Эмигранты” — вполне реалистическая вещь Мрожека — вдруг превращалась в спектакль под названием “Твари”. Или “Братья”. В последнем случае причины для перемены заглавия носили чисто технический характер — двух персонажей играли реальные братья^[30]. А вот “Твари” (1991) в московском Приват-театре уже идеологически обыгрывали проблему невероятно активной эмиграции, ставшей реальной проблемой все еще советского общества. Если создатели спектакля начала 1980 х годов (постановка Мокеева) задумываются над проблемами “внутренней эмиграции”, то в начале 1990 х в центре внимания оказываются социальные и эмоциональные последствия “утечки мозгов”, т.е. волны эмиграции, опустошившей московские институты, НИИ и конструкторские бюро. “Они уехали туда, наверное, так же

легко, как чистили здесь, в своей кухне в 9 кв. м, картошку. (...) Они хотели лучшего. Хотели большего. (...) Они уезжали, а мы, оставаясь, испытывали зависть или сомнение, или негодование”^[31]. Зависть и негодование по отношению к крысам, бегущим с тонущего корабля, — чувства вполне совковые и, видимо, ни создателям спектакля, ни рецензентам не чуждые, поэтому “Эмигранты” превратились в “Тварей”, а зритель мог вволю позлорадствовать над трудностями их жизни и радостно констатировать: “...название это им как-то даже к лицу. (...) Они, быть может, еще не животные. Но уже не люди”^[32]. Те, что злорадствовать не хотели или не умели, возмущались: “Спектакль назвали „Твари”, тем самым предварительно оценив обоих персонажей пьесы и сделав бессмысленным действие, в котором они как раз и должны проявить свою сущность”^[33]. Постановщик и сценограф Гедрюс Мацкявичюс — известный режиссер, создатель уникального театра пластической драмы — ввел в спектакль непредусмотренный Мрожеком пластический образ УУ — таинственной женщины-паука, власть которой над АА и ХХ не знает границ. Постановка Мацкявичюса была признана неудачной; чисто формальный эксперимент, не подкрепленный интерпретационным новаторством, провалился. Не всегда, однако, эксперименты такого рода заканчивались неудачей. С отстранением, гротескностью, абсурдностью и непсихологичностью мрожековских персонажей играючи справлялся театр кукол, который не раз обращался к одноактным пьесам^[34]. Мрожек, наряду с другими абсурдистами, давал возможность экспериментировать на формальном уровне и стал своеобразным катализатором поисков новой сценической образности.

В-четвертых, своеобразие интерпретаций...

...в основе которого лежит “очищение” текстов Мрожека от политических мотивов в пользу “психологизирования”.

Политические контексты творчества Мрожека, его “борьба с коммунизмом” — так активно эксплуатировавшаяся в Польше, что, когда она перестала быть актуальна, пьесы Мрожека посыпались с афиш как перезрелые яблоки, — в русском театре практически не прозвучали. Там, где польский зритель видел острую политическую сатиру, русский искал и находил психологическую драму. Социально-политическая направленность вообще в некотором смысле чужда русской культуре, поэтому театр упорно искал у Мрожека то, что внутри, игнорируя то, что снаружи, общечеловеческое предпочитая конкретно-политическому, эксплуатируя

психологические и бытовые мотивы. Мрожек — для русских — мог казаться автором слишком сухим, критичным и интеллектуальным. Его “холодная жестокость” по отношению к героям вступала в конфликт с устоявшейся литературной традицией, требующей сочувствия к каждому “униженному и оскорбленному”. Мрожек раскрывал действие механизмов, позволял понять, но сочувствовать отказывался. Этот серологический конфликт между собственной традицией и предложением Мрожека иногда заставлял подозревать польского автора в мизантропии. Даже самые верные поклонники творчества польского мастера гротеска и абсурда, к которым, без сомнения, можно отнести режиссера и актера Романа Козака, упрекали его в эмоциональной холодности и в отсутствии сочувствия к своим героям. Козак, работая над спектаклем “Любовь в Крыму”, который, впрочем, особого интереса у русской публики не вызвал и быстро исчез из репертуара МХАТа, признал: “Для него наша страна представляет собой интересную тему из-за исключительной душевности, которой самому Мрожеку, наверное, немного не хватает”. Еще более резко формулировала эту мысль театральная критика, постоянно упрекая актеров и режиссеров в том, что, играя Мрожека, они сосредотачиваются не на вине своих героев, как это было у польского писателя, а на беде, что якобы противоречило авторской идее.

Отсутствие живого интереса к политике, особенно к “борьбе с коммунизмом”, которую неумоимо вел Мрожек, изменяет облик его драматургии в русском прочтении. Политические мотивы, доминирующие в польских сценических интерпретациях и, казалось бы, созвучные с нашим опытом, не сделали карьеры в русском театре, который решительно предпочитал заниматься общечеловеческими проблемами, извлекая из драматургии Мрожека абсурдность космического обустройства мира, а не алогизмы конкретной политической системы. Почему? Ответ в значительной степени связан с разницей в понимании задач, которые стоят перед театром, его места в культуре и обществе в Польше и в России. Русский театр — после нескольких попыток и последовавших за ними провалов (как художественных, так и коммерческих) — предпочитает не вдаваться в выяснение отношений с коммунистическим прошлым. После периода интенсивного исследования “белых пятен” исторические и политические темы уходят даже не на второй план, а вообще из театра, уступая место этико-эстетической проблематике. Глубокий анализ механизмов порабощения и манипуляции, вмешательство государства и власти в частную жизнь людей перестает занимать публику, не соответствует ее запросам и

желаниям, в результате чего интерпретация произведений Мрожека начинает требовать значительно более широких контекстов и не касается таких существенных для польского театра вопросов, как, например, разоблачение социалистического строя. В Польше творчество Мрожека всегда воспринималось сквозь призму политики, особенно это касается театральных интерпретаций, где искусство “чтения между строк” достигло таких высот, что публика видела политические аллюзии даже там, куда авторы их не вкладывали. Характерной чертой польского театра всегда был его политический характер. В Польше театр не раз уходил в подполье, активно включаясь в политическую борьбу. Были у него на это особые причины и основания, то есть опыт и традиция политической борьбы, уходящей корнями в XIX век, когда польский театр наряду с литературой активно включился в борьбу за независимость и сохранение национального самосознания. Русский театр, что было вызвано как кратковременной конъюнктурой (усталостью публики от политики), так и исторически сформировавшимся пониманием театра, обошел стороной творчество Мрожека – политика, сконцентрировавшись на психологических мотивах. Русскому театру удалось преодолеть головную боль польских режиссеров под названием “говорящие головы”, за которые польского драматурга не раз ругала польская критика, упрекая его пьесы в статичности, чрезмерной интеллектуальности. Мрожековские “говорящие головы” русским актерам не мешали, их технические возможности позволяли с легкостью наполнить такую голову внутренним содержанием. По свидетельствам очевидцев, Мрожек после просмотра русских “Эмигрантов” и “Стриптиза” на посвященном ему краковском фестивале в 1990 г. был растроган тем, с каким уважением отнеслись к его текстам русские театры. Подробная и тонкая психологическая партитура, свойственная большинству русских постановок, и есть то оригинальное предложение русского театра, которое являет собой совершенно иную форму прочтения творчества Мрожека по сравнению с традиционными интерпретациями польского театра. Искажает ли психологизм схематичных мрожековских персонажей общую картину мира его драматургии? Ехидный Мрожек с “человеческим лицом” — почему бы нет? Его холодная, бесстрастно-интеллектуальная драматургия моделей будила, как кажется, внутреннее сопротивление исполнителей. Актеры упорно искали психологических мотивировок для поступков героев, что повлекло за собой появление странного гибрида концептуальной режиссуры и психологизированного лицедейства, душевности и интеллекта, который и является характерной особенностью русских мрожековских спектаклей

последних лет. Мрожек и русские актеры — это вообще отдельная тема. В самом отстраненном от житейского быта тексте они умели найти лазейки для непосредственного чувства и лирического переживания, при этом их реалистическая школа в столкновении с гротеском ситуации подвергается видимой трансформации, что приносит совершенно неожиданные плоды; исполнительское искусство приобретает как бы новое измерение... Абсурдистские тексты Мрожека в психологическо-реалистической манере исполнения получают сильный комический заряд, поскольку именно в таких условиях юмор Мрожека звучит чисто, а диалог приобретает особую выразительность.

Русский театр искал и находил у Мрожека то богатство знаний о жизни, которые нельзя свести к абстрактным схемам и общим правилам, а история русских постановок позволяет увидеть новые, не использованные польским театром возможности интерпретации, которые таят в себе пьесы Мрожека.

ПРИМЕЧАНИЯ

1. И.Вишневская. Кто-то всегда виноват (Премьера спектакля “Горбун” в Театре им. Маяковского) // “Вечерняя Москва”, 01.02.1992.
2. О.Галахова. Теплая Сибирь // “Независимая газета”, 1995, №93.
3. Ср. заглавия рецензий: Умное искусство смеха // “Советская эстрада и цирк”, 1967, № 9; Мудрый смех // “Известия”, 30.06.1967.
4. В.Фролов. Умное искусство смеха // “Советская эстрада и цирк”, 1967, №9.
5. В.Соломатин. На новой ступени // “Литературная Россия”, 23.06.1967.
6. В.Блок. Мудрый смех // “Известия”, 30.06.1967.
7. Переводы рассказов Мрожека Натальи Горбаневской публиковались в эмигрантской, выходящей в Париже “Русской мысли” (1982, №3423; 1984, №3514). В 1988 г. в ленинградском самиздатском “Митином журнале” вышла подборка рассказов Мрожека “Избранное”. Пер. Елены Третьяковой и Ольги Абрамович.
8. Е.Петрова. Пан Мрожек: натуральный абсурд // “Аргументы и факты. Петербург”, 16.10.2002.
9. Вечер состоял из двух частей: “В открытом море” Мрожека и “Картотеки” Ружевица.

10. Театр-студия “Человек”, Москва. Пер. Леонарда Бухова. Режиссер Михаил Мокеев, сценография: Дмитрий Кисмелов. В ролях: АА — Роман Козак, ХХ — Александр Феклистов. Премьера: январь 1983 (дипломный спектакль выпускников Школы-студии МХАТ). С 1984 г. спектакль играли нелегально. Официальная премьера — апрель 1987.
11. Марина Зайонц. Таки мелодрама // “Итоги”, 21.12.2006.
12. Премьера: 18.01.1990. Польская публика имела возможность увидеть этот спектакль на фестивале Мрожека в Кракове, где постановка получила письменное одобрение автора, поблагодарившего коллектив “за лучшую постановку пьесы „Стриптиз”, за настоящий театр вообще” и подписавшегося: “Благодарный и счастливый автор Славомир Мрожек”. В 1991 г. на Международном фестивале “Контакт” спектакль получил вторую премию. Критики утверждали, что “русские вернули Польше польского Мрожека!”.
13. Молодежный театр на Фонтанке, реж. Семен Спивак.
14. Как вспоминает закулисные разговоры исполнитель роли Стомиля Сергей Кошонин, Мрожек “сказал: „Я впервые увидел “Танго””. — „Как? — удивились мы. — Впервые в России?” — „Нет. Я впервые увидел то, что даже не дописал. Вы дали мне почву для размышлений. И если бы я сейчас, после вашего спектакля, писал пьесу, то какие-то моменты усилил бы, а что-то — убрал”. Нам было очень приятно”. — Светлана Мазурова, Сергей Кошонин. “Танго” для души... // “Восточно-Сибирская правда”, 8.05.2004.
15. Станислав Авзан — создатель сайта “Уголок дилетанта”, посвященного питерской театральной жизни, который был “задуман как форум для тех, кто любит театр и хочет поделиться своими впечатлениями с другими”: www.theatre.spb.ru
16. А.Шерель. Донос на самого себя // “Советская культура”, 17.10.1989.
17. Режиссер: Андрей Гончаров, сценограф: Борис Мессерер, премьера: январь 1992.
18. А.Спиртов. В горбатом мире // “Московские новости”, 02.02.1992.
19. Театр “У Никитских ворот”, Москва, реж. Андрей Молотков.
20. Даже самые доброжелательные по отношению к Мрожеку рецензенты после куртуазных комплиментов по адресу автора всё же вздыхали: “„Вдовы” к шедеврам Мрожека не относятся” (W.Majcherek. Nowy Mrozek // “Teatr”, 1993, №2), “это произведение не того ранга, что „Танго”,

„Эмигранты” или „Портрет”” (A.Wanat. *Aż tyle* // “Teatr”, 1993, №2).

21. Премьера 04.12.1994 в антрепризе “Московский салон” на сцене театра “Эрмитаж”, Москва. Пер. Леонарда Бухова, режиссер Роман Козак, сценография: Павел Каплевич.
22. А.Соколянский. Красиво жить не запретишь // “Московский наблюдатель”, 1994, №1-2.
23. А.Соколянский. После конца концов // “Московский наблюдатель”, 1994, №11-12.
24. Из театральной программки.
25. Название пьесы “Вдовы” изначально не устраивало российский театр, и петрозаводские афиши приглашали зрителей на “Шампанское с валерьянкой” (премьера: 2000), вологодские — на “Банан” (2003), Санкт-Петербургские — на спектакль “Банан. Шампанское с валерьянкой” (2001), Челябинские — на “Наваждение” (2004), а в Бишкекском Русском театре, добавив к ним “Кароля”, поставили спектакль “Хочу быть лошастью”! (2005).
26. МХАТ им. Горького, Москва. Пер. Галины Аксеновой. Реж. и сценогр.: В.Козьменко-Делинде, премьера: 26.10.1988.
27. В.Горшкова. Феномен Мрожека // “Театральная жизнь”, 1989, №20.
28. H.Stephan. Mrozek. Kraków, 1996, s.232.
29. Л.Юсипова. Поставив Мрожека, во МХАТе отлично сыграли Чехова // “Kommersant daily”, 25.03.1995.
30. “Братья”, Театр на Юго-Западе, Москва. Реж. и сценогр. Валерий Белякевич, в ролях — Валерий и Сергей Белякевичи, премьера 26.08.1999. Братство АА и ХХ исключало социальную, столь существенную для конструкции пьесы, оппозицию, но позволило актерам сыграть вполне вероятное примирение в финале.
31. Т.Немойкина. Уехать, чтобы тварью стать // “Россия”, 1991, №13.
32. Там же.
33. И.Мягкова. Новые страсти по Виктюку. Наш коммерческий спектакль // “Театр”, 1991, № 8.
34. Московский театр кукол. Реж. Леонид Хайт. Премьера: 28.01.1988. Спектакль под названием “В ожидании вся прелесть охоты, или Несчастный случай еще впереди” был удачным синтезом двух одноактных пьес из разных и тематически, и стилистически циклов. “Кароль” из раннего творчества Мрожека довольно часто попадал на русские сцены, а вот серия поздних пьес о Лисе успехом не

пользовалась. Соединить эти столь разные пьесы позволила тема моральной слепоты, которая обыгрывалась как “куриная” в “Серенаде” и “физическая” в “Кароле”; связующим звеном служили огромные очки, “игравшие” в обеих частях спектакля.

“ВОЙНА И МИР” КРИСТИНЫ КУРЧАБ-РЕДЛИХ

Недавно вышедшая в Польше и по-польски книга так и называется — “Головой об стену Кремля”. В ней почти 500 страниц, и многие из них не только о мирных российских реалиях, но и о войне, о Чечне. В 2000 г. пани Кристина “отстрелялась” своей первой книгой о России — “Пандрёшка” [отрывки из книги см. в “Новой Польше”, 2000, №5. — Ред.]. Творчество Курчаб-Редлих отмечено высокими наградами в Польше и России. “Международная Амнистия”, Хельсинкский фонд и чеченская организация “Эхо войны” выдвинули кандидатуру Кристины Курчаб-Редлих на Нобелевскую премию мира...

В своей новой книге журналистка вновь ставит зеркало перед российским обществом. Что мы в нем увидим?

Российский дебют

Штудирую внушительный том, снабженный, словно диссертация, богатой библиографией, я не раз отмечал свои совпадения с автором — возрастные, социальные, литературные... Вообще ценностные. Кристина (для краткости опущу необходимый в Польше для малознакомого человека придаток “пани”) не пытается вставать на котурны. Порой не щадит и себя, признаваясь в былой “социалистической стреноженности”. Например, как она, будучи подростком, не прижилась во Франции, куда ее было направили набираться ума и шарма заботливые родители. Здесь всё было чужое, признаётся Кристина. И она вновь плюхнулась в родную стихию, в польский “совок”...

И от “совковой” соцреальности излечивалась постепенно (как, замечу, и я). Я, как и автор книги, знаю, что такое быть на “двойном сквозняке”, на стыке двух культур, разных, несмотря на единые славянские корни, обычаев. А главное — политики. Состояние это, постоянная профессиональная вскидка, погоня по горячим следам событий, настолько увлекательны, насколько и изнурительны. И нужно очень любить “страну пребывания”, как это именуют дипломаты, чтобы понять и принять ее, отказавшись от прежних предубеждений, стереотипов, мифов.

Не буду о себе, ведь я пишу о Кристине: в России ей это удалось. Однако не сразу. Что тоже хорошо просматривается в ее очередном бестселлере (в варшавских книжных магазинах книгу уже не купить!).

Поэтому я отступаю от принятого рецензионного канона: сначала о перлах, а под конец скороговоркой о “ложке дегтя”. Сначала — о “дегте”. Я не согласен, например, что уровень жизни в России при “совке”, как пишет Кристина, был несоизмеримо ниже, чем в остальных странах соцлагеря, по сравнению с Польшей — тоже. А вот свобод в Польше действительно было больше.

Отлично помню Ельцина на танке: “Демократия победила!” Эйфория свободы, в том числе печати. Тогда-то меня, беспартийного журналиста (при “совке” хуже был только беспартийный еврей), до этого семь лет обретавшегося на горьких “вольных хлебах”, — неслыханное дело — после нескольких публикаций приняли на работу в ведущее информационное агентство РИА “Новости”, недавнюю большевистско-гэбэшную цитадель. Тогда Ельцин и его команда громили “коммуняк”, и я с ними совпал...

Помню, когда еще царствовал Горбачев, но Ельцин упрямо шел во власть, у Главтелеграфа — знаменитого К 9 в самом центре Москвы, на ступеньках которого встречаются приезжие со всего мира, — я увидел картину, которая до сих пор стоит перед глазами. Пожилая женщина с котомкой за плечами (Родина-Мать!) устало оперлась на костыли перед портретом Ельцина на фронтоне почты — и молилась на этот портрет, словно на икону Спасителя...

Каким же нужно быть негодяем, мелкой шушерой, чтобы раздавить ожидания этой женщины, всех сограждан, кроме кучки “приближенных к телу” прилипал. Вот в этом резком неприятии политиканства, коррумпированности, манипуляции людьми мы, хочется думать, единодушны с автором книги.

“Единица — вздор!”

Недолго музыка играла — музыка “перестройки” отношений между людьми на истинно демократических началах. Черчилль сказал, что демократия была бы худшим строем, если бы существовал какой-нибудь лучше. И автор книги подробно исследует, “какой путь прошла Россия от коммунистического небытия к демократии и... обратно. Только не по прямой, а в сторону”.

К “управляемой” и “суверенной” демократии. К “диктатуре закона”, лукавым правилам игры, о которых один из бесчисленных южноамериканских диктаторов сказал так: “Для своих — всё, а для остальных — закон”. В принципе, в какие одежды ни ряди авторитаризм, все равно будут вылезать уши диктатора...

Период “позднего Горбачева и раннего Ельцина”, который подробно рассматривает Кристина, был весьма несовершенным, половинчатым, но давал людям надежду. Потом не стало и ее... Точнее, надежда еще тлеет. Но какое это жалкое пламя — как в огарке свечи...

Автор книги, исследуя современные российские реалии, копает основательно, глубоко, пытаясь ответить на “гамлетовский вопрос”: почему же не удалась так обнадежившая вначале “перестройка” в России. Ведь удалась же польская трансформация! И другие “демолюды” (польское разговорное сокращение от “демократия людова”) тоже, что называется, выбились в люди. “Сегодня они крепко стоят на ногах, а большинство принято в Евросоюз, который не назовешь пристанищем для нищих”, — справедливо отмечает Курчаб-Редлих. “Россия отличается от этих стран принципиально”, — пишет она.

Чем? Хотя бы своей историей. “Всегда в истории России после периода либеральных реформ следовал поворот от них к деспотизму, авторитарности, названной позднее тоталитаризмом. Происходит так, вероятно, потому, что России трагически недостает культуры эпохи настоящего Просвещения, просвещенного абсолютизма. Его школы жандармская деспотичная реальность заменить не могла”. Это автор книги цитирует российского историка Александра Янова, соглашаясь с ним. И действительно, создается впечатление, что Медный всадник (известно, что Петр Первый закапывал “инакомыслящих” по горло в землю, пока не умрут) всё настигает и настигает бедного Евгения. Маленького обитателя России, сочувственно вылепленного Пушкиным. Великий варвар-реформатор, впрочем, тоже изображен сочувственно...

Что и говорить, много страшных страниц было в истории России. В прошлом веке — гражданская война, раскулачивание, голодомор, ГУЛАГ...

И как же фарисейски звучат сегодня предписания Кремля историкам и публицистам: “Показывать то, что нам дорого, что вызывает гордость!” А если не вызывает?

Курчаб-Редлих, довольно подробно останавливаясь на судьбах “инакомыслящих” современной России, восклицает: “Немало россиян желают знать правду, в т.ч. и историческую, и как же они одиноки!”.

К “другой России”, пытающейся “жить не по лжи”, писательница относит, например, члена Российской Академии наук Александра Кредера, написавшего учебник “Новейшая история зарубежных стран. 1914-1997”. В нем ученый, в частности, утверждал, что освобождение стран Центральной и Восточной Европы советской армией трансформировалось в распространение коммунистического тоталитаризма. При этом историк не преминул припомнить и трагические (в том числе и для самого Советского Союза!) последствия пакта Молотова — Риббентропа. Зато обошел молчанием подвиги генерала Жукова, который мостил победу трупами советских солдат, в несколько “накатов”. Вот и стоит, добавим, по давней традиции, величественный каменный истукан при входе на Красную площадь...

А “инакомыслящего” Кредера уже нет в живых: не пережил баталий вокруг учебника. Аналогичная “история с историей” приключилась с Игорем Долуцким, с которым неоднократно беседовала Кристина. Он тоже хотел докопаться до истины, говоря о голодоморе на Украине, о большевистских преступлениях в Катыни... При Горбачеве и Ельцине в этих преступлениях признались, а в последние годы наступил откат. Зеленая улица предоставляется историкам и публицистам типа Юрия Мухина, которые снова уверяют, что 22 тысячи польских офицеров и гражданских лиц в 1940 году расстреляли немцы...

Результаты оболванивания (статистика по книге Курчаб-Редлих): в 2004 году 42% (!) школьников выбрали бы Сталина президентом России.

Видимо, это и называется теперь в России “воспитанием патриотизма”, понимаемого очень и очень специфически, по-большевистски: тот, кто за Кремль, — патриот, кто против — враг. Подобную прагматическую избирательность заклеил в свое время Лев Толстой, назвав квасной лукавый патриотизм “последним прибежищем для негодяев”. Действительно, это ведь все равно, что выйти на Красную площадь и рвать тельняшку на груди: “Не забуду мать родную!” Истинная любовь тиха и меньше всего, как справедливо отмечает Курчаб-Редлих, связана с лжепатриотическими заклинаниями типа “Мой адрес — не дом и не улица, мой адрес — Советский Союз!”.

Именно — улица! И особенно дом! А “могучий Советский Союз” (где он?), “Великая Россия” (где она?) — это, скорее, из арсенала кремлевских политтехнологов. Не случайно один из главных, Глеб Павловский, презрительно именует россиян “овощами”, пригодными только для голосования за очередную “диктатуру закона”.

Но что же, против лома “нет приема”? В современной России, как отмечает и Курчаб-Редлих, — нет. Нет, как на Западе, как в Польше, парламентских комиссий, которые при свете телекамер разбирают громкие, в том числе и коррупционные, дела. “Как же, жди, предстанет премьер перед Думой”, — цитирует автор книги устойчивое мнение россиян. В Польше, перед Сеймом, — предстал. Вот урок истинной демократии — и для “небожителей”, и для их рядовых сограждан... А свободная печать? А российская оппозиция? Остается только горестно вздохнуть.

Вот только некоторые цифры и факты. По данным мирового экономического форума (оценка 2005 г.), по конкурентоспособности товаров и услуг Россия занимает 76 е место в мире, между Панамой и Марокко. По развитию высоких технологий (один из самых главных показателей каждого постиндустриального общества!) — 73 е, между Венесуэлой и Колумбией... Можно также добавить, что средний возраст мужчин в России — 58 лет. А пенсии — одни из самых низких в мире. “Зато” страна лидирует по количеству беспризорных детей, а алкоголизм и наркомания становятся угрозой для выживания нации.

И это — “Великая Россия”?! А ведь с начала “перестройки” прошло более 20 лет...

“Иногда создается впечатление, что Россия в один прекрасный день хотела бы проснуться трезвой, чистой, веселой. Более счастливой. Не такой больной. Микстуры не помогут. Должна измениться атмосфера. Должна появиться власть, хотя бы немного уважающая подданных и меньше ранящая их души”, — сочувственно подытоживает Курчаб-Редлих.

Неизвестная война

“Нелегко стало писать о России после 11 сентября 2001 г., когда Владимир Путин первым среди политиков схватил телефонную трубку, чтобы выразить соболезнование и в то же время поддержать Джорджа Буша в борьбе с международным терроризмом”, — пишет Курчаб-Редлих. И признаёт, что Путину без особого труда удалось приравнять борьбу чеченцев

за независимость к международному терроризму. И в сознании россиян, и на мировой арене.

По мнению автора книги, война в Чечне неизвестна подавляющему большинству россиян. Сама Кристина приобрела эти горькие знания весьма нелегко.

“Если самому прикоснуться к руинам, если поднять чью-то уцелевшую на пепелище игрушку, изменяется взгляд на мир”, — признается она. Из ее записной (фронтовой!) книжки о бомбардировке чеченского села Шали. Рассказ активистки общества “Мемориал” Базаевой: “И тогда я увидела ее. Женщину без головы. С огромным животом. Живот шевелится... Тяну в эту сторону медсестру... И там, на площади, среди трупов и воющих раненых, разрезали живот женщине без головы и вытащили ребенка, живого...”

Подобные кадры не покажут по российскому ТВ. Строго-настрога запрещены даже интервью с “чеченскими бандитами”. Статистика, которую приводит Курчаб-Редлих: более 200 тысяч погибших при “наведении конституционного порядка” чеченцев, в основном мирных жителей. Около 13 тысяч — “цинковые мальчики”, погибшие российские солдаты...

Из записной книжки Кристины, песня российского солдата, записанная на кассетник (обратный перевод с польского мой. — В.Б.): “Горит танк, вместе со мной. А позади моя отчизна, бедная и голодная, которая вытолкала меня на войну и для которой я ничто. Горит мой танк, и горишь ты, забросавший меня гранатами. А позади тебя узкая полоска твоей отчизны, которую ты защищаешь, которой ты нужен... Я завидую тебе, ведь ты знаешь, за что умирать...”

Обширная глава книги о военных действиях в Чечне и терактах в России — самая страшная, самая беспросветная. Басаевский рейд на Буденновск; взрывы домов в Москве и несостоявшийся — в Рязани; Дубровка; Беслан... И какую кровавую историю ни копни — всё тот же ужас, полное бесправие будь то русских, будь то чеченцев перед бездушной державной шестерней, перемалывающей человеческие судьбы, словно мельник муку.

После трагических событий на Дубровке, полных недомолвок, прямой лжи и полного пренебрежения к жертвам теракта, которых сваливали, как дрова, прямо на мостовую — и мертвых, и еще живых, при штурме отравленных сильнодействующим газом, — десятилетний московский мальчуган с ожесточением “мочит” чеченцев. Пока что — в

компьютерной игре. С другой стороны, по данным ВЦИОМа, которые тоже приводит Курчаб-Редлих, 68% россиян уверены в том, что подрастающее поколение чеченцев будет еще враждебнее по отношению к России.

И этого добивался Кремль начиная с 1994 года? Помните радость идиота, развязавшего войну, — кощунственную телевизионную дешевку тогдашнего министра обороны Павла Грачева: “Наши мальчики умирают в Чечне с улыбкой на устах”? И по сей день чеченские партизаны не сломлены. И каждый день прибывает цинковых гробов...

Да, национальный вопрос — очень крепкий орешек для любой страны.

Феномен Путина

Как-то я, гоняя в одиночестве чай, помечтал: а кто бы из самых-самых мог составить компанию на кухне? Легко представил Горбачева (помнится, молодой журналист Артем Боровик приобнял его даже после интервью, по-сыновьи). Ельцина представил тоже. С натяжкой — Брежнева, Хрущева. Не мог представить у себя (то есть у простого смертного) только Сталина и... Путина. А потом с удивлением прочитал почти совпадающее с моим впечатление от нынешнего российского президента у Курчаб-Редлих. Вот ее весьма тонкое психологическое наблюдение над тогда еще кандидатом в президенты: “Когда он приближался, например, к ребенку, каменели оба — и Путин, и ребенок. Когда появлялся (...) в больнице, на заводе — видно было, как неуютно ему среди простых людей, будто бы он их боялся. Зато он прекрасно чувствовал себя в кабине истребителя или в подводной лодке. В морском кителе. Среди военных. Среди своих...”.

В 91-м году, пишет автор книги, Путин привез из Германии, где был “советским разведчиком”, подержанную “Волгу” и очень этим гордился. А спустя девять лет в журнале “Глобал файнэнс” Путин уже фигурировал в списке шестиста наиболее влиятельных финансистов мира. “Если это правда, то откуда такое состояние?” — задается вопросом Курчаб-Редлих. И поясняет: компромат на Путина — огромный, с номерами дел петербургской прокуратуры и конкретными именами следователей.

Известно, что Путин был правой рукой бывшего мэра Санкт-Петербурга Анатолия Собчака. Мало или совсем неизвестно, что делал он вместе с патроном под вывеской питерского Комитета внешнеэкономических связей. Между тем в книге приводится

список очень серьезных махинаций. Что интересно, одну из своих “ошибок” нынешний президент публично признал (обратный перевод с польского мой. — В.Б.): “Я тогда считал, не знаю, справедливо или нет, что бизнес, связанный с азартными играми, — это такая сфера деятельности, где государство должно быть монополистом. Поэтому мы создали городское предприятие, которое... контролировало 51% акций игорных заведений. В это предприятие вошли представители главных контрольных организаций: ФСБ, налоговой полиции и налоговой инспекции... Это, однако, было ошибкой... Это была классическая ошибка людей, которые впервые столкнулись с рынком”. (Наивные вы наши!)

А сравнение Путина со Сталиным, думается, правомерно (да оно ему, судя по всему, и льстит): существует между двумя диктаторами — с поправкой на время, конечно, — какая-то таинственная связь, о которой в книге Курчаб-Редлих упоминает известный экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин: “Путин — плохой организатор и управленец. Если сравнить его со Сталиным, то можно поиронизировать, что это, к сожалению, очень маленький Сталин”.

Тем не менее высокий рейтинг Путина за все годы его президентства практически непоколебим. Автор книги объясняет это необычайным даром Путина-чекиста “вербовать” и своих граждан, и западных. Более конкретен как всегда попадавший в точку социолог Юрий Левада (как мы внимали его крамольным и ярким, особенно на фоне брежневской мертвечины, лекциям на журфаке МГУ!), тоже процитированный в книге Курчаб-Редлих: “Доверие к Путину зиждется не на том, что уже сделано, а на надежде. Надежде на чудо. Ведь если спросить верующих в Путина, довольны ли они реформами, то они ответят, что нет... Поскольку Путин не представил никакой программы, каждый верит в свою программу. И видит в президенте ее реализатора”.

И вот еще что: говоря об авторитариях, можно припомнить, что каждый из них порождал несогласных в своем же кругу. Ленин породил “иудушку Троцкого”. Сталин — в латентном, скрытом до поры до времени виде, Хрущева, впоследствии даже выкинувшего “отца народов” из Мавзолея. Путин уже породил по крайней мере двух: бывшего премьера Михаила Касьянова, ныне лидера пока что умеренно оппозиционного Кремлю Российского народно-демократического союза. И бывшего своего советника по экономическим вопросам Андрея

Илларионова, отлученного от Кремля за довольно резкие критические эскапады.

Илларионов же, согласно автору рассматриваемой нами книги, и умозаключил: “Это только кажется, что в авторитарном государстве нет оппозиции: она есть, в первую очередь в самих органах власти”.

Что касается заглавной метафоры рассматриваемой книги — “Головой об стену Кремля”, то, разумеется, хрупкая женщина эту стену не пробила. И не такие лбы разбивались о державную твердь. Не знаю, заметила ли Кристина на главной площади России весьма характерную конфигурацию: Храм — Кремль — Лобное место...

Москва — Варшава

УМНЫМ СЕРДЦЕМ

Кристину Курчаб-Редлих как знатока России — со всей геополитической сложностью территорий бывшего СССР — рекомендовать не нужно. Телезрители “Польсата” помнят ее документальные фильмы о второй чеченской войне; зрители государственного телевидения тоже, вероятно, не забыли того, что говорила она (в частности, в программе “Беседы на новый век”) о том, как там меняется и не меняется жизнь во всех своих индивидуальных и общественных проявлениях. Она писала об этом на страницах газет и в своей первой книге “Пандрёшка” [отрывки из книги см. в “Новой Польше”, 2000, №5. — Ред.]. За эти тексты, помимо различных полученных ею наград, чеченская организация “Эхо войны”, “Международная Амнистия” и Хельсинкский фонд выдвинули ее кандидатуру на Нобелевскую премию мира.

Недавно в серии “Terra incognita” издательства W.A.B. вышла ее новая книга — “Головой об стену Кремля”. Название серии точно характеризует то, что автор предлагает читателям: вступить на неизвестную землю. Вступить с проводником, который “об стену Кремля” колотит головой, а по российской земле ведет с сердцем, открытым к судьбе ее жителей — без снисхождения к тем, кто виновен в своей и чужой беде, но и без осуждений или насмешек, какие мог бы себе позволить сторонний наблюдатель.

Я пытаюсь определить, в чем состоит достоверность этих текстов, которые располагаются между научной советологией, тяготея к ней огромным запасом эрудиции, и репортажем, который дает право высказывать личные наблюдения и субъективные чувства. Гармония этих свойств вытекает прежде всего из журналистского таланта автора, интегральную часть которого составляет жажда убедить читателя в правде рассказываемого и заставить его принять эту правду, причем этому сопутствует любовь к изучению источников, гораздо бо́льшая, на мой взгляд, чем у других репортеров.

Убеждает личный опыт, что понятно, но его дополнительно подкрепляет такого рода откровенность, которую может себе позволить только человек, знающий свой предмет по этому самому личному опыту и вдобавок располагающий столь значительной эрудицией. Кристина Курчаб-Редлих признаётся:

“В 1995 г., бегая по красным ковровым дорожкам Думы и задавая депутатам вопрос о причинах чеченской войны, я наверняка знала лишь где расположен Грозный. Всё прочее оставалось загадкой за дымовой завесой пропаганды. Вскоре „Штандар млодых“ напечатал целую колонку собранных мною ответов. Уже первое предложение моего вступления содержало пропагандистскую чушь: „Почему правозащитники молчали, когда Дудаев на главной площади Грозного выставил надетые на кол отрубленные головы своих политических противников?“ А молчали они, потому что такого факта не было. Этот факт обрел существование лишь в виртуальной действительности, в которую я поверила. А раз я поверила, то почему не поверить и миллионам жителей России?”

Такого рода откровенность очень легко может переродиться в кокетливое верхоглядство или в способ оправдывать недостаточные познания. Потому-то я подчеркиваю эрудицию, которая автора от этого защищает. А также обращаю внимание на сигнал, заключенный в последнем предложении вышеприведенной цитаты. Журналистка, прибывшая из Польши, с одной стороны, превосходит миллионы российских граждан хотя бы недоверием к российской официальной информации, зная, что та равнозначна пропаганде. С другой — она сама поддается пропаганде, не представляя себе, что можно так нагло “врать в глаза”.

В книге много ссылок на публикации, документы, разговоры с очевидцами и участниками событий, приведенные фрагменты которых служат взаимной проверке, составляя богатые тылы углубленных познаний. Вышеприведенному признанию во временном легковерии предшествуют другие, вероятно, столь же искренние высказывания: “Где правда? Сегодня я ловлю ее давно просроченные крохи, главным образом для иллюстрации бесконечного цинизма тех, кто связан с Кремлем. Ибо нужно останавливаться на подробностях, до конца разъяснять спорные обстоятельства и события, иначе любая критика властей России, бывших или уже нынешних, будет сочтена проявлением русофобии”.

Автор не желает такой оценки, поэтому, как многие пишущие и говорящие о России, старательно отделяет “кремлевскую власть” от общества, тем более от народов, когда-то составлявших СССР. Не по черно-белой схеме, разумеется, и не по критериям сострадания, вызванного лишь тем, что и русский, и другие народы подвергались и подвергаются подавлению по приказам этой власти.

Читать эту книгу нелегко, хоть и увлекательно. Читать ее надо внимательно ввиду изобилия малоизвестных, а то и вовсе неизвестных фактов, которые читатель обязан усвоить, чтобы понять и согласиться с суждениями автора или же сохранить свои сомнения. Быстро обнаруживается, что на этих нескольких сотнях страниц мы не найдем недвусмысленной поддержки своим рефлексорным симпатиям и антипатиям. Россией, которую показывает нам Кристина Курчаб-Редлих, можно увлечься, возжелать проникновения в тайну непрерывности таких коллективных потребностей, как мифологизация власти, могучая держава, непобедимая армия... Однако чтение наносит удар таким замыслом, сдерживает их, хотелось бы сказать, “под кремлевскими стенами”, позволяя осознать, насколько еще незакрыт список вопросов, и устыжая тех, кто поддается стереотипам и даже лозунгам о “русской душе” и российских комплексах.

Можно и ужаснуться, читая, например, о современных российских “психушках”, которые мы, как выясняется, поспешно отставили на полки с диссидентской литературой. Автор приводит слова Юрия Савченко, президента Независимой психиатрической ассоциации России: “Психиатрию снова используют в наказание. Мы долго не могли этому поверить. Но иначе, нежели в советский период (...). Сохранены также необходимые звенья правовой цепи: задержание — суд — больница. А поскольку суды редко сопротивляются милиции или прокуратуре, то на этой цепи мечется всё большее число граждан России”. Автор умно просматривает каждое звено той цепи, что связывает сегодняшнюю Россию с наследием СССР. Она информирует читателя о том, в каком месте цепь слабеет, а где держится по-прежнему прочно. Проявления ослабления, а также попытки порвать цепь она отмечает с особым вниманием.

Кристина Курчаб-Редлих. Головой об стену Кремля. Варшава, W.A.B., 2007. (Terra incognita). 491 с. — На польск. яз.

УМНЫМ СЕРДЦЕМ

Кристину Курчаб-Редлих как знатока России — со всей геополитической сложностью территорий бывшего СССР — рекомендовать не нужно. Телезрители “Польсата” помнят ее документальные фильмы о второй чеченской войне; зрители государственного телевидения тоже, вероятно, не забыли того, что говорила она (в частности, в программе “Беседы на новый век”) о том, как там меняется и не меняется жизнь во всех своих индивидуальных и общественных проявлениях. Она писала об этом на страницах газет и в своей первой книге “Пандрёшка” [отрывки из книги см. в “Новой Польше”, 2000, №5. — Ред.]. За эти тексты, помимо различных полученных ею наград, чеченская организация “Эхо войны”, “Международная Амнистия” и Хельсинкский фонд выдвинули ее кандидатуру на Нобелевскую премию мира.

Недавно в серии “Terra incognita” издательства W.A.B. вышла ее новая книга — “Головой об стену Кремля”. Название серии точно характеризует то, что автор предлагает читателям: вступить на неизвестную землю. Вступить с проводником, который “об стену Кремля” колотит головой, а по российской земле ведет с сердцем, открытым к судьбе ее жителей — без снисхождения к тем, кто виновен в своей и чужой беде, но и без осуждений или насмешек, какие мог бы себе позволить сторонний наблюдатель.

Я пытаюсь определить, в чем состоит достоверность этих текстов, которые располагаются между научной советологией, тяготея к ней огромным запасом эрудиции, и репортажем, который дает право высказывать личные наблюдения и субъективные чувства. Гармония этих свойств вытекает прежде всего из журналистского таланта автора, интегральную часть которого составляет жажда убедить читателя в правде рассказываемого и заставить его принять эту правду, причем этому сопутствует любовь к изучению источников, гораздо бо́льшая, на мой взгляд, чем у других репортеров.

Убеждает личный опыт, что понятно, но его дополнительно подкрепляет такого рода откровенность, которую может себе позволить только человек, знающий свой предмет по этому самому личному опыту и вдобавок располагающий столь значительной эрудицией. Кристина Курчаб-Редлих признаётся:

“В 1995 г., бегая по красным ковровым дорожкам Думы и задавая депутатам вопрос о причинах чеченской войны, я наверняка знала лишь где расположен Грозный. Всё прочее оставалось загадкой за дымовой завесой пропаганды. Вскоре „Штандар млодых” напечатал целую колонку собранных мною ответов. Уже первое предложение моего вступления содержало пропагандистскую чушь: „Почему правозащитники молчали, когда Дудаев на главной площади Грозного выставил надетые на кол отрубленные головы своих политических противников?” А молчали они, потому что такого факта не было. Этот факт обрел существование лишь в виртуальной действительности, в которую я поверила. А раз я поверила, то почему не поверить и миллионам жителей России?”

Такого рода откровенность очень легко может переродиться в кокетливое верхоглядство или в способ оправдывать недостаточные познания. Потому-то я подчеркиваю эрудицию, которая автора от этого защищает. А также обращаю внимание на сигнал, заключенный в последнем предложении вышеприведенной цитаты. Журналистка, прибывшая из Польши, с одной стороны, превосходит миллионы российских граждан хотя бы недоверием к российской официальной информации, зная, что та равнозначна пропаганде. С другой — она сама поддается пропаганде, не представляя себе, что можно так нагло “врать в глаза”.

В книге много ссылок на публикации, документы, разговоры с очевидцами и участниками событий, приведенные фрагменты которых служат взаимной проверке, составляя богатые тылы углубленных познаний. Вышеприведенному признанию во временном легковерии предшествуют другие, вероятно, столь же искренние высказывания: “Где правда? Сегодня я ловлю ее давно просроченные крохи, главным образом для иллюстрации бесконечного цинизма тех, кто связан с Кремлем. Ибо нужно останавливаться на подробностях, до конца разъяснить спорные обстоятельства и события, иначе любая критика властей России, бывших или уже нынешних, будет сочтена проявлением русофобии”.

Автор не желает такой оценки, поэтому, как многие пишущие и говорящие о России, старательно отделяет “кремлевскую власть” от общества, тем более от народов, когда-то составлявших СССР. Не по черно-белой схеме, разумеется, и не по критериям сострадания, вызванного лишь тем, что и русский, и другие народы подвергались и подвергаются подавлению по приказам этой власти.

Читать эту книгу нелегко, хоть и увлекательно. Читать ее надо внимательно ввиду изобилия малоизвестных, а то и вовсе неизвестных фактов, которые читатель обязан усвоить, чтобы понять и согласиться с суждениями автора или же сохранить свои сомнения. Быстро обнаруживается, что на этих нескольких сотнях страниц мы не найдем недвусмысленной поддержки своим рефлексорным симпатиям и антипатиям. Россией, которую показывает нам Кристина Курчаб-Редлих, можно увлечься, возжелать проникновения в тайну непрерывности таких коллективных потребностей, как мифологизация власти, могучая держава, непобедимая армия... Однако чтение наносит удар таким замыслом, сдерживает их, хотелось бы сказать, “под кремлевскими стенами”, позволяя осознать, насколько еще незакрыт список вопросов, и устыжая тех, кто поддается стереотипам и даже лозунгам о “русской душе” и российских комплексах.

Можно и ужаснуться, читая, например, о современных российских “психушках”, которые мы, как выясняется, поспешно отставили на полки с диссидентской литературой. Автор приводит слова Юрия Савченко, президента Независимой психиатрической ассоциации России: “Психиатрию снова используют в наказание. Мы долго не могли этому поверить. Но иначе, нежели в советский период (...). Сохранены также необходимые звенья правовой цепи: задержание — суд — больница. А поскольку суды редко сопротивляются милиции или прокуратуре, то на этой цепи мечется всё большее число граждан России”. Автор умно просматривает каждое звено той цепи, что связывает сегодняшнюю Россию с наследием СССР. Она информирует читателя о том, в каком месте цепь слабеет, а где держится по-прежнему прочно. Проявления ослабления, а также попытки порвать цепь она отмечает с особым вниманием.

Кристина Курчаб-Редлих. Головой об стену Кремля. Варшава, W.A.B., 2007. (Terra incognita). 491 с. — На польск. яз.

ВЫПИСКИ ИЗ КУЛЬТУРНОЙ ПЕРИОДИКИ

Одной из трудностей, с которыми пытается справиться современная Европа, – это вопрос о памяти и способах ее документировать: в искусстве, исторических науках, литературе. Многолетние споры о том, каким быть памятнику Катастрофы в Берлине (нашедшие свое отражение и в поэзии, в частности, в стихах Ежи Фицовского), или дискуссия, точнее полемика, между немцами и поляками вокруг создания в Берлине Центра изгнанных и, наконец, начинающаяся сейчас дискуссия вокруг предложения нового польского премьер-министра Дональда Туска создать в Гданьске, где начались военные действия, музей II Мировой войны (где, вероятно, найдет свое место и известный французский лозунг “Не стоит умирать за Данциг”) – всё это доказывает, что с памятью и ее проявлениями у нас серьезные затруднения. Поэтому не удивляет, что эта тема постоянно возвращается и выглядит одной из важнейших проблем, вокруг которых организуется – на разных уровнях: от дискуссий ученых до выступлений публицистов – дискурс о самосознании Европы.

Этот вопрос поднимает в своем последнем номере ольштынский ежеквартальный журнал “Боруссия” (№47, 2007), публикуя блок материалов польских и немецких авторов, озаглавленный “Разделенная память Европы”. Главный редактор журнала Роберт Траба пишет в статье “Полифония памяти”:

“Общепринято считать, что память разделяет. Отсюда – сильная сегодня в мире тенденция к забвению как способу решения проблем. Так говорят люди, которые считают, что иначе ничего хорошего с Центральной и Восточной Европой не сделаешь. Европа, континент, который в прошлом веке пережил самые крупные преступления геноцида, как будто совершенно не управляется с собственной памятью. Поэтому появляются различные протезы и попытки побега, о которых я упомянул. Чаще всего побег совершают в места известные, то есть закрепленные в национальных представлениях.

Между тем память следует подвергнуть детоксикации. Один мой друг (...) рецепт „детоксикации” нашел на Балканах. Принято утверждать, что причиной трагедии в бывшей

Югославии была память, постоянное напоминание о травмах прошлого. А может быть, все-таки больше – отрежиссированное забвение? Целые десятилетия память представляли в искаженном виде, пытались ее изглаживать с помощью навязанной идеологии братства, сталкивали ее в сферу темных табу. Если бы в те годы попытались померяться памятью, дать ей выход, пусть даже она внесет рознь... Может быть, тогда не было бы такого грубого ее возврата, разрушительного в своей долго подавлявшейся силе? К сожалению, такое искусственное табуизирование, а затем конъюнктурное детабуизирование касается и демократических обществ. Нужно искать „хорошую“, но забытую память. Это особенно относится к коллективной памяти соседствующих государств и народов, на территориях которых веками создавались накладывающиеся друг на друга гибридные культуры. При этом полифония памяти не означает, что надо предать забвению „дурные“ события. „Вечной памяти“ не существует. Не существует и „разделенной памяти Европы“, ибо это означало бы, что когда-то была некая „общая память“, которая потом распалась. Память сознательно конструируют различные формы политической культуры: историческая политика, мемориализация, музеефикация и т.п. И, парадоксально, но эта констатация позитивна, ибо порождает надежду, что полифония памяти, сегодня занимающая лишь отдельные ниши, когда-то сумеет стать господствующим в Европе повествованием. На сегодняшний день я вижу иную задачу, нежели поиски общеевропейских мест памяти: необходимость научиться терпимости к памяти „других“”.

Своеобразным “испытанием памяти” у поляков стало все еще не затухающее дело о преступлении, совершенном в Едвабне [массовое убийство, включая сожжение живьем, местных евреев их вчерашними соседями-поляками летом 1941], – как для русских “катынское дело”. Но все эти испытания памяти по-прежнему используются инструментально и на уровне публицистической полемики становятся мучительной попыткой поддержать те самые “закрепленные национальные представления”, о которых упоминает Траба. Становятся они и попыткой – как то доказывает уже долго продолжающаяся в Польше дискуссия об “исторической политике” – создавать новые представления, по сути дела служащие не столько истории, сколько политике. Неслучайно тот же Траба пишет в своей последней книге “История – пространство диалога” (Варшава, 2006), что историческая политика “строится в противостоянии критическому патриотизму”, т.е. патриотизму, отвергающему стереотипы и повелевающему

неустанно пересматривать собственные позиции и представления о себе самих.

Игра с памятью, корыстная или бескорыстная, идет без окончательно установленных правил, погружена в пространство не до конца распознаваемых эмоций. Это показано в интересной большой статье Лукаша Нечо “Операция „Висла” шестьдесят лет спустя, или Воспоминания из настоящего”, напечатанная в том же номере “Боруссии”. Автор, украинец, родившийся в семье, переселенной в ходе операции “Висла”, которую коммунистические власти проводили в послевоенный период с целью разрушить украинское общество на восточном пограничье Польши, пишет:

“Любая попытка сведения счетов с прошлым всегда нелегка и несправедлива. И все-таки, несмотря ни на что, мы ищем истину. Ищем виновников. Ищем причины. Особые размышления у меня вызывает вопрос: что тут есть истина? Никто здравомыслящий не скажет о литературных произведениях, написанных под влиянием эмоций, что в них достоверно и правдиво отражены представленные события. Однако сухих фактов и цифр как будто недостаточно. Они не удовлетворяют жажду справедливости, а может быть, мести. Не передают того, что лично переживали люди, как быстро менялась их судьба, как событие душевное может разрушить человека и психологически изменить его, указывая ему новые ценности и авторитеты, меняя смысл жизни, а может, даже отнимая его”.

Особый случай неустанного пересмотра памяти – вопрос отношения к Западу. Эта тема доминирует в интервью Юстины Соболевской с Михалом Гловинским (“Дзенник”, 2007, №283), озаглавленном “Из Катастрофы не выходишь”. Беседа касается прежде всего недавно опубликованных в Польше книг “Канувшие и спасенные” Примо Леви и “По ту сторону преступления и наказания” Жана Амери. Гловинский, принадлежащий к спасенным, подчеркивает:

“Катастрофу можно было пережить, но из Катастрофы не выходишь. Независимо от того, ребенком был ты или взрослым. Пережитое таится в человеке, и освободиться от него невозможно. Оно возвращается в снах, в страхе перед замкнутым помещением. Это может приводить к разным типам поведения. Я встречал людей, которые создавали себе вымышленные биографии, чтобы убрать это время из своей жизни. Другие должны были рассказывать. Третьи продолжали жить, канув в этот опыт. Это невозможно выдержать. Тогда

единственной формой освобождения действительно остается смерть и самоубийство”.

Далее, комментируя состояние памяти о Катастрофе еврейского народа, Гловинский говорит:

“Знания о немецких лагерях безмерно расширились, но в то же время предмет этих знаний становится всё труднее представимым. В одной израильской школе на встрече с человеком, пережившим Катастрофу, девочка-подросток спросила: „А как часто вам меняли постельное белье?” Она представляла себе Аушвиц как жуткую, но все-таки гостиницу. Это не должно стать предметом огорчений или критики, ибо свидетельствует о том, что мир нормализовался. Человек, живущий в нормальных условиях, не в состоянии себе этого представить. Когда кончилась война, мне едва исполнилось десять лет, но свое я успел пережить: гетто, жизнь в укрытии. Я не рассказывал об этом. Пока не описал. Но помню, что, когда мне случалось вспоминать об этом среди моих ровесников, у которых не было подобного опыта, они мало что понимали. Не потому, что не могли себе представить, а потому, что об этом почти не говорили. И не только из-за большой или малой политики в Польше или других странах. Это был вопрос душевной гигиены. Спасенные нуждались в молчании. Если ты хотел снова войти в повседневную жизнь, в новую жизнь, нельзя было думать о прошлом”.

С другой стороны, память об этом прошлом в ПНР подвергалась постоянным манипуляциям:

“Об Аушвице говорилось – но в рамках пропаганды. Кульминация лжи о временах оккупации наступила в мартовский [1968] период. Вы знаете, что мартовские события начались с наступления на реальные знания о немецких лагерях? Посмотрите на энциклопедию – там сзади на полке. В статье „концентрационные лагеря” в согласии с истиной написано, что существовали трудовые лагеря и лагеря уничтожения. В лагеря уничтожения попадали в основном евреи. Эта констатация фактов была признана сионистской пропагандой. (...) Во времена ПНР почти не издавалось книг о Катастрофе. Труд Владислава Бартошевского и Зофьи Левиной „Тот из моей отчизны” [о поляках, спасавших евреев, первое издание – 1969] с трудом прошел через цензуру. Режим не любил такого рода книг. Если что-то появлялось, то лишь в научных журналах. Если теперь выходит так много книг – это значит, что людей эта тема чрезвычайно интересует. И это самое главное”.

Произведенная здесь Гловинским конфронтация памяти с представлениями тех, кто не располагает подобным опытом, кажется мне самым важным в этом интервью. Это относится ко всякой памяти, не только к той, которую Траба определяет как “дурную”, – возбудить сочувствие в диалоге о прошлом, вдобавок о таком, которое нам совершенно “чуждо”, необычайно трудно. Но трудно и воспринимать прошлое сквозь палимпсест взаимопроникающих мемориальных повествований. Так происходит хотя бы при разговоре о таких городах, как Вильнюс (польское Вильно) и Львов, где друг на друга накладываются рассказы на разных языках и в разнообразных национальных контекстах.

Это хорошо показано в интервью Петра Косевского с вроцлавским историком Адольфом Юзвенко в люблинском ежеквартальном журнале “Кресы” (2007, №1-2). В интервью, озаглавленном “Нельзя прятать голову в песок”, Юзвенко рассказывает о парадоксах, с которыми сталкивается, когда бывает во Львове:

“Львов – нелегкая тема в польско-украинском диалоге. (...) Когда я приезжаю во Львов и нахожу время погулять по городу, прислушиваюсь к гидам, водящим группы туристов, или заглядываю в путеводители по Львову, изданные по-украински, то с печалью констатирую, что в представляемой там истории Львова нет ни Польши, ни поляков. Чаще всего это тема табу. Украинским жителям Львова трудно справиться с польско-украинским прошлым. Они обходят его молчанием. На помощь приходит история: Польша утратила независимость в конце XVIII века, Львов отошел к Австрии, и вплоть до 1918 г. польской государственности не было, поэтому говорится об австрийском Львове, а после 1918-го – о польской оккупации. (...) Однажды молодые украинцы водили меня по городу. Во время этой прогулки они в своих рассказах ни разу не употребили слов „поляк”, „Польша”, „польский”. Зато я все время слышал об австрийском Львове. В конце концов мы дошли до костела доминиканцев. Перед ним стоят букинисты с книгами. Я подошел к одному, другому, третьему лотку. На каждом были почти исключительно польские книги, издания с XIX века по 1939 год. Я спросил их: „На каком языке говорили друг с другом австрийцы? Насколько я знаю, по-немецки? А если да, то откуда взялись польские книги, выходившие в австрийском Львове? Почему тут нет книг по-немецки?” Они только покраснели. „Следуя вашему ходу мыслей, – прибавил я, – не только Львов не был польским городом: Краков был австрийским, Варшава – русская, Лодзь – русская, Познань и Гданьск – немецкие. Более того, принимая такую точку зрения,

вам придется согласиться, что в прошлом не было украинских городов””.

Ну, если бы Адольф Юзвенко хорошенько посмотрел, то на лотках букинистов или в букинистических магазинах – в конце концов, в библиотеках – нашел бы книги, выходившие во Львове не только на польском языке, но и на немецком, русском, украинском, идише. Это место с историей, сплетенной из многих витков, и памятью, вплетенной во много языков. Помню, как меня поразило, что преподававший в конце XIX века во Львовском университете литературу польский поэт Ян Каспрович читал свои лекции по-немецки. Но помню и какой-то недавний спор, в котором выяснилось, как поразило молодых украинских историков открытие, что во Львове было крупное еврейское меньшинство.

На тему функционирования памяти теоретизировать трудно – ее динамика, видимо, столь же непознаваема, как прошлое, которое эта память по прошествии лет реконструирует. В заключение приведу отрывок из статьи Магдалены Новицкой “Пост-Катынь”, посвященный кинофильму Анджея Вайды “Катынь” (“Одра”, Вроцлав, 2007, №11):

“...хорошее предвестие (...) – минимальное присутствие русских на экране. Персонализирован только сюжет „хорошего большевика” (...) а палачи остаются безымянными. Посыл фильма обладает универсальным аспектом: массовое убийство на любой широте – одинаковое зло. Хотя не следует переоценивать влияние двухчасовой картины на мировосприятие зрителей, на создателях лежит ответственность за их долю в сотворении памяти о тех событиях. „Не история выносится в ранг высказывания, а воспоминание”, – считал Поль Рикёр. Большую часть своих трудов он посвятил феноменологии памяти. Лейтмотивом этой ветви феноменологии должна быть идея „счастливой памяти”, т.е. памяти „удовлетворенной”, „примирившейся”, черпающей радость из самой возможности вспоминать. Счастливая память могла бы стать альтернативой претензиям на воздвижение памятников. На первое место она ставила бы верность прошлому и распознавание вспоминающим самого себя на фоне опыта „вчера и сегодня”. Рикёр верил, что счастливая память может возместить несчастья истории. „Катынь” Вайды хорошо исполняет роль кирпичика в возведение такой памяти, ибо не проецирует зверство определенной идеологии на всё понятие русского тогда и теперь”.

ПАМЯТИ ВИКТОРА ЭРЛИХА

С большим опозданием мы узнали, что 29 ноября 2007 г. умер наш близкий и дорогой друг Виктор Эрлих. Ему было 93 года. Мы были знакомы полвека. Впервые мы встретились в 1958 г. в Утрехте, в Голландии (уже не помню, при каких обстоятельствах), а вскоре после этого вместе поехали в Париж. В последующие годы мы виделись в разных местах — довольно редко, за исключением 1975 года, когда мы втроем (моя жена Тамара, дочь Агнешка и я) провели год в Йельском университете в Нью-Хейвене (штат Коннектикут), где Вика (так называли его знакомые) много лет подряд профессорствовал, — в тот период мы встречались часто.

Дом Вики и его жены Изы (они всегда говорили друг другу “дорогой” и “дорогая”) был для нас теплым и радостным местом. Там мы впервые встретились с Иосифом Бродским и другими русскими, которых ненавидели советские власти. Помню я и встречи с Викой в Париже, Варшаве, Нью-Йорке; именно в Нью-Йорке, по дороге из Калифорнии в Оксфорд, мы увиделись с ним в последний раз в 2002 году. Изы тогда уже не было в живых.

Вика был русистом, профессором русской литературы Йельского, а ранее Вашингтонского университета (в Сиэтле). Он родился в Петербурге, но еще в детстве переехал вместе с родителями в Польшу, где окончил школу и университет. Во время войны ему вместе с женой Изой удалось выехать из Вильны в Японию (благодаря японскому консулу, который тогда многим помог); оттуда они перебрались в Канаду и США. Он служил в американской армии и был тяжело ранен, сражаясь во Франции. Затем он вел жизнь ученого — слависта и русиста. Его книга “Русский формализм”, переведенная на многие языки мира, считается классическим произведением. Трактат о Гоголе стал подручной книгой всех, кто интересуется русской культурой. В конце жизни он опубликовал также автобиографическую книгу.

Отец Вики, Генрих Эрлих, был деятелем, а затем и лидером Бунда — международного социалистического еврейского движения. Между февральской и октябрьской революцией он поставил в Петроградском совете вопрос о независимости Польши. В то время Петросовет был в России высшим авторитетом, и даже Ленин не посмел высказаться против этой

еретической резолюции, хотя она несомненно приводила его в ярость. Сам Вика тоже был бундовцем.

Во время II Мировой войны Генрих Эрлих пробрался в Советский Союз, где его вместе с Альтером, другим лидером Бунда, арестовали и приговорили к смерти — разумеется, как гитлеровских шпионов. Спустя много лет нашлись документы, свидетельствующие о том, что Генрих Эрлих не был казнен советскими палачами, так как за несколько месяцев до расстрела покончил с собой. Альтера же действительно расстреляли, причем совершенно невероятно было то, что советское правительство официально сообщило об этом правительству Великобритании, когда приговоренный был еще жив — за день до казни. Причины такого шага неизвестны.

Мать Вики Зофья, с которой мы еще успели пообщаться (она умерла, когда ей было чуть ли не 102 года), была дочерью Шимона Дубнова — знаменитого историка, написавшего, в частности, десяти томную “Всемирную историю еврейского народа” и двух томную историю хасидизма.

Вика Эрлих был выдающимся ученым и историком литературы, но друзья любили его, как брата, вовсе не за это. Казалось, с ним просто невозможно познакомиться и поговорить один раз, чтобы не подружиться на всю жизнь. Это был человек доброжелательный к ближним, восприимчивый к чужому несчастью и одаренный замечательным чувством юмора. Он любил петь старые польские, русские и еврейские песни, любил рассказывать анекдоты, особенно о евреях (зато был далеко не лучшим водителем, и порой мог не заметить красный свет). На протяжении нескольких десятков лет, которые Вика прожил в Америке, он разговаривал со своей женой Изой по-польски.

Дружба с ним обогащала всех, кому была дарована судьбой.